Александр МАРКОВ

Александр Марков родился в 1976 году. Доктор филологических наук, автор книг по классической и современной философии, теории и истории изобразительного искусства, эстетике. Публиковался в журналах «НЛО», «Знамя», «Новый мир» и мн. др. В «Волге» печатались стихи и критика.

ДВАДЦАТАЯ ТОЧКА

Роман-телеграмма

Пролог

Афон, 1453 год

Монах стоял на краю обрыва, и ветер рвал его рясу, как парус.

Внизу лежало море – тёмное, как чернила, которыми он всю жизнь писал слова, не имевшие смысла для тех, кто не умел летать. Ветер нёс соль – она оседала на губах, на языке, на веках. Он чувствовал её вкус: горький, металлический, как кровь.

Он закрыл глаза.

– Ты опоздал, – сказал голос за спиной.

Монах не обернулся. Он знал этот голос. Знал его семьдесят лет: так же хорошо, как собственное дыхание.

– Город падёт, – сказал он. – Сегодня. К закату.

– Я знаю.

– Мы могли бы остановить их. Мы могли бы сжечь их флот. Мы могли бы…

– Мы не можем, – сказал второй монах. – И ты знаешь почему.

Тишина. Только ветер и далёкий звон – Константинополь звонил в колокола, как будто прощался. Или как будто звал на помощь. Звон шёл по воде, слабый, искажённый, как крик утопающего.

– Тогда зачем мы здесь? – спросил первый.

– Затем, что мы должны кое-что вынести. Не книги. Не золото. – Второй монах шагнул вперёд, и его ноги не касались земли. – Карту.

Первый открыл глаза.

– Это не карта, – сказал он. – Это приговор.

– Это ключ.

– Ключ к чему?

Второй монах улыбнулся. Это была странная улыбка – как у человека, который знает конец истории, но не знает, что будет после.

– Ко всему, – сказал он. – И к ничему.

Он протянул руку. В ней был свиток – старый, обгоревший по краям, перевязанный чёрной лентой.

– Возьми.

Первый монах не двинулся.

– Если я возьму, я не смогу вернуться.

– Ты и так не сможешь, – сказал второй. – Город падает. Мы все – уже не здесь.

Первый посмотрел на свиток. Потом – на море. Потом – на небо, где не было ни облака, ни птицы, ни Бога.

Он взял свиток.

Пергамент был тёплый. Не как бумага – как кожа. Как будто живой.

И в тот момент, когда его пальцы коснулись пергамента, где-то внизу, за много миль, рухнула стена Константинополя. Он не услышал этого. Но почувствовал – как толчок в груди, как обрыв нити, как конец чего-то, что никогда не должно было закончиться.

– Что теперь? – спросил он.

– Теперь мы летим, – сказал второй. – И не останавливаемся.

Они шагнули в воздух одновременно. И воздух принял их, как принимает вода – без сопротивления, без звука, без следа.

Через минуту на обрыве не было никого. Только ветер, только море, только свиток – точнее, его копия, которую они оставили на камне.

Копия, которую через пятьсот лет найдёт человек, не умеющий летать.

Человек, который прочитает её и поймёт.

Или не поймёт.

Или – поймёт слишком поздно.

Глава 1

Афон, наши дни

Алексей Строганов не верил в чудеса.

Он верил в архивы. В даты. В почерки. В чернила, которые можно датировать по составу. В бумагу, которую можно проверить на подлинность. В слова, которые можно разобрать, если знать язык.

Поэтому, когда старый библиотекарь монастыря Симонопетра – сгорбленный грек по имени отец Паисий, с руками как корни оливы – сказал ему: «У нас есть рукопись, которая не должна существовать», Алексей только пожал плечами.

– Все рукописи существуют, – сказал он. – Вопрос в том, кто их написал.

Отец Паисий посмотрел на него так, как смотрят на человека, который смеётся над громом.

– Эта, – сказал он, – написала себя сама.

Алексей отпил кофе. Горький, густой, с песком на дне чашки. Чашка была горячая – он чувствовал тепло через керамику, через пальцы, через ладонь. Пахло ладаном и старым деревом. За окном кричали чайки – резко, пронзительно, как будто спорили о чём-то. Море было синим до невозможности – как на открытке, которую кто-то слишком долго редактировал в фотошопе.

– Я слушаю, – сказал он.

Они сидели в маленькой комнате – той, где пахло ладаном и старым деревом. За окном – море. Синее. Слишком синее.

– В 1930-х годах, – начал отец Паисий, – один из наших монахов нашёл в стене старого скита тайник. В нём был свиток. Обгоревший по краям. И на нём была надпись.

– Какая?

– «Тому, кто прочтёт и не поймёт».

Алексей поставил чашку. Керамика стукнула о стол – сухо, коротко.

– И что было внутри?

– Текст. На смеси греческого, славянского и какого-то шифра. Мы не смогли прочитать его полностью. Но те части, которые мы поняли, были… – Отец Паисий замолчал. Подбирал слово. – Тревожными.

– Тревожными?

– В них описывалось, как человек может перестать быть здесь.

Алексей наклонился вперёд. Он чувствовал, как стул под ним скрипит – старое дерево, сухое, тёплое.

– В каком смысле?

– В буквальном, – сказал отец Паисий. – Как человек может исчезнуть в одном месте и появиться в другом. Без корабля. Без лошади. Без дороги.

Тишина. Чайки замолчали. Море – тоже. Как будто кто-то выключил звук.

– Вы хотите сказать, – медленно проговорил Алексей, – что у вас в библиотеке лежит инструкция по левитации?

Отец Паисий не улыбнулся.

– Я хочу сказать, – ответил он, – что у нас в библиотеке лежит инструкция. А левитация – только первое, что она объясняет.

Он встал и пошёл к двери. У порога обернулся.

– Вы придёте?

Алексей смотрел на него. Потом – на море. Потом – на свои руки, которые вдруг похолодели.

– Приду, – сказал он. – Но если это очередная мистификация, я уеду первым же паромом.

– Конечно, – сказал отец Паисий. – Все так говорят.

Библиотека находилась в подвале. Каменные стены, лампы под потолком, запах пыли и воска. Полки уходили в темноту, как туннели. Воздух был тяжёлый – холодный, сырой, с привкусом старой бумаги.

Отец Паисий вёл его между стеллажами. Шёл медленно, но уверенно – как человек, который знает каждый камень.

– Здесь, – сказал он, остановившись у стены в дальнем конце. – За этой полкой.

Он нажал на что-то – Алексей не увидел, что именно, – и полка отъехала в сторону. За ней была ниша. В нише – металлический ящик.

– Ключ, – сказал отец Паисий, протягивая ему маленький бронзовый ключ. – Открывайте сами.

Алексей взял ключ. Он был холодный. Тяжёлый. Странно тяжёлый для своего размера. Металл обжигал пальцы – не холодом, а чем-то другим. Как будто ключ знал, что его возьмут.

Он вставил ключ в замок. Повернул.

Ящик открылся.

Внутри лежал свиток. Обгоревший по краям. Перевязанный чёрной лентой.

Алексей замер.

– Это…

– Да, – сказал отец Паисий. – Это.

– Но… – Алексей сглотнул. – Как?

– Мы не знаем, – сказал отец Паисий. – Но у нас есть ещё кое-что. – Он достал из кармана сложенный лист бумаги. – Это перевод. Точнее, попытка перевода. Его выполнил один из наших монахов в 1930-х. Он сошёл с ума.

– Сошёл с ума?

– Он начал летать, – сказал отец Паисий. – И не смог остановиться.

Алексей смотрел на свиток. На обгоревшие края. На чёрную ленту. На ключ в своей руке.

– Что с ним стало? – спросил он.

– С кем?

– С монахом. Который перевёл.

Отец Паисий долго молчал. Потом сказал:

– В 1938 году он вышел на балкон. И больше его не видели.

– Он упал?

– Нет, – сказал отец Паисий. – Он не упал. Он… – Старик замолчал. Посмотрел на море. – Он исчез. На глазах у трёх свидетелей. Они сказали, что он просто перестал быть.

Алексей почувствовал, как холод поднимается по спине. Не метафорический – настоящий. Как будто кто-то провёл ледяным пальцем по позвоночнику.

– И вы в это верите?

Отец Паисий посмотрел на него. В его глазах не было ни страха, ни сомнения. Было что-то другое. Что-то, что Алексей не мог назвать.

– Я верю в то, что вижу, – сказал старик. – А вижу я то, что не должно существовать. И всё же – существует.

Он протянул Алексею лист бумаги.

– Читайте, – сказал он. – Но помните: тот, кто начал читать, не всегда может остановиться.

Алексей взял лист.

Бумага была старая – шершавая, пожелтевшая, с пятнами. На ней было написано несколько строк – греческими буквами, но слова были не греческие. Он узнал некоторые. «Свет». «Молчание». «Сердце». «Небо».

А в самом низу – фраза, от которой у него перехватило дыхание:

«Ты не читаешь. Ты вспоминаешь».

Он поднял глаза.

Отец Паисий смотрел на него.

– Что это значит? – спросил Алексей.

– Это значит, – сказал старик, – что вы уже знаете ответ. Просто не помните, что знаете.

Он повернулся и пошёл к выходу.

– Подождите! – крикнул Алексей. – Кто вы такой?

Отец Паисий остановился. Обернулся.

– Я – тот, кто ждал вас, – сказал он. – И, боюсь, ждал слишком долго.

Он улыбнулся. И в этой улыбке было что-то, от чего Алексей вдруг понял: он не вернётся домой. Никогда.

Глава 2

Москва, 20 июня 1605 года

Москва пахла дымом.

Не пожаром – пожара не было уже третий день. Пахло печами, которые топили по-летнему, чтобы готовить еду; пахло дёгтем, которым смазывали тележные оси; пахло конским потом, рыбным духом с Охотного ряда, квасом, пролитым у кабаков, и той особенной московской пылью, которая поднимается с булыжников к полудню и висит в воздухе как серая взвесь. Пыль оседала на зубах, на языке, на коже – мелкая, тёплая, живая.

Монах стоял на кремлёвской стене и смотрел на город.

Он был высок, широкоплеч, но двигался легко – слишком легко для человека своего роста. На нём было простое монашеское платье, тёмное, без украшений, и это выделяло его среди бояр, которые толпились внизу, в Кремле, в ярких шубах, в высоких шапках, некоторые с саблями на поясе.

Он не хотел быть здесь.

Он хотел быть там, где ветер не пахнет людьми.

– Государь, – сказал голос за спиной.

Монах не обернулся. Он знал, кто это. Дьяк Власьев – толстый, потный, с глазами, которые бегали, как мыши. Он был одним из тех, кто вёл его сюда, шаг за шагом, от Польши до Москвы, от одной лжи к другой.

– Не называй меня так, – сказал монах.

– Но, государь…

– Я не государь.

Власьев замер. Потом подошёл ближе. Его сапоги скрипели по камню – сухо, ритмично, как будто отсчитывали время.

– Ваше… – он запнулся. – Как мне вас называть?

Монах наконец обернулся. У него было лицо, которое трудно запомнить: правильные черты, светлые глаза, ничего особенного. Но в этом лице было что-то, от чего Власьев почувствовал холод – как будто он стоял не на стене, а на краю.

– Называй меня так, как называли до того, как ты придумал мне имя, – сказал монах.

Власьев сглотнул. Горло пересохло.

– Я не…

– Ты придумал мне имя, – повторил монах. – Ты и твои люди. Вы сказали: «Ты – царевич Дмитрий. Ты сын Ивана. Ты должен вернуться». Я не спорил. Я не умею спорить. Я умею только летать.

Власьев побледнел.

– Тише, государь! Ради Бога, тише!

Монах посмотрел на него. Долго. Потом отвернулся.

– Я не умею лгать, – сказал он. – Поэтому говорю правду. Вы придумали мне имя. Я принял его. Но я не могу стать тем, кем вы меня назвали.

– Но народ верит…

– Народ верит в то, что ему сказали. Это не моя заслуга. Это ваша работа.

Власьев молчал. Он не знал, что сказать. Он привык к людям, которые лгут, торгуются, угрожают. Он не привык к людям, которые говорят правду.

Монах снова посмотрел на город. Пыль висела в воздухе – серая, тёплая. Где-то внизу кричал петух. Где-то плакал ребёнок.

– Зачем я здесь? – спросил он.

– Чтобы занять престол, – сказал Власьев. – Чтобы спасти Россию от Годунова. Чтобы…

– Годунов мёртв, – сказал монах. – Его сына убили. Его дочь отравили. Я не спас никого.

Власьев замолчал.

– Я должен был быть в другом месте, – сказал монах. – В Константинополе. Или в Китае. Или в Венеции. Там я был бы полезен. Там я мог бы что-то изменить.

– А здесь? – тихо спросил Власьев.

– А здесь я – фигура на шахматной доске. Я не играю. Я – то, чем играют.

Он сказал это без горечи. Без злости. Просто как факт.

Власьев вдруг понял, что этот человек не боится. Не боится ни смерти, ни пыток, ни предательства. Он боится только одного: остаться здесь. На земле. Среди людей, которые не понимают его.

– Что вы будете делать? – спросил дьяк.

Монах не ответил. Он смотрел на запад – туда, где за домами и церквями, за рекой, за лесами, лежала земля, которую он знал лучше, чем Москву.

– Я буду ждать, – сказал он. – Пока меня не позовут.

– Кто?

– Те, кто умеет летать.

Внизу, на Соборной площади, толпа встречала царя.

Он должен был выйти к ней – на Красное крыльцо, в шапке Мономаха, с державой в руке, как настоящий государь. Бояре уже стояли у дверей, готовые подхватить его под руки, вести, показывать, кланяться.

Но монах не выходил.

Он стоял в Успенском соборе, у алтаря, и смотрел на икону.

Икона была старая – Спас Нерукотворный, тёмный, с ликом, который почти невозможно разглядеть. Но монах видел. Он всегда видел. Запах воска, ладана, старого дерева – всё это было знакомо, как собственное дыхание.

– Ты знаешь, кто я, – сказал он тихо. – Ты знаешь, что я не тот, кем меня называют. Ты знаешь, что я не хотел этого.

Икона молчала.

– Я хотел спасти, – сказал монах. – Но я не знаю, как спасать. Я умею только летать. А летать – это не спасать. Это – уходить.

Он опустился на колени. Каменный пол был холодным. Он почувствовал этот холод – и это было странно, потому что он давно уже не чувствовал холода.

– Если ты есть, – сказал он, – скажи мне, что делать.

Тишина.

Он закрыл глаза.

И в этот момент – не в голове, не в сердце, а где-то глубже, в том месте, которое он не мог назвать, – он услышал голос.

Не слова. Не звук. Что-то другое.

Как будто кто-то – далёкий, но знакомый – позвал его.

Он открыл глаза.

– Я иду, – сказал он.

Он встал и вышел из собора.

На Красном крыльце его встретил рёв толпы.

Тысячи людей – крестьяне, купцы, стрельцы, нищие, бояре – все смотрели на него и кричали. Кто-то плакал. Кто-то крестился. Кто-то падал на колени. Запах пота, немытых тел, дёгтя, кваса – всё это ударило в нос волной.

Монах стоял и смотрел.

Он не видел лиц. Он видел только массу – серую, тёмную, шумную. Люди, которые хотели чуда. Люди, которые хотели царя. Люди, которые хотели верить.

Он не мог им этого дать.

– Государь! – кричал кто-то. – Дмитрий Иванович! Спаси нас!

– Государь! – подхватывали другие. – Веди нас!

– Государь!

Монах поднял руку.

Толпа замолчала. Мгновенно. Как будто кто-то выключил звук.

Он стоял и смотрел на них. Он не знал, что сказать. Он не умел говорить речи. Он умел только молчать – и в молчании было больше правды, чем в любых словах.

– Я не спасу вас, – сказал он наконец.

Тишина стала ещё глубже.

– Я не царь. Я не воин. Я не тот, кем вы меня считаете.

Кто-то в толпе ахнул. Кто-то заплакал. Кто-то закричал: «Обман!»

Но монах продолжал:

– Я – тот, кто должен был быть в другом месте. Я – тот, кто не успел. Я – тот, кто не может остаться.

Он замолчал.

Толпа смотрела на него. Никто не двигался.

Потом кто-то – старик с длинной бородой, в рваном кафтане – вышел вперёд и сказал:

– Государь, мы не понимаем тебя. Но мы верим тебе.

Монах посмотрел на него. Долго.

– Зря, – сказал он.

И ушёл.

Ночью он не спал.

Он сидел в тереме, в комнате с низким потолком и маленьким окном, и смотрел на свечу. Пламя дрожало, как будто тоже боялось. Воск таял – капля за каплей, – и запах был тёплый, сладкий, знакомый.

В дверь постучали.

– Войди, – сказал он.

Вошла женщина. Молодая, красивая, с глазами, которые видели слишком много. Марина Мнишек. Его жена – точнее, женщина, которую ему дали в жёны.

Она не улыбнулась. Не заплакала. Не упала на колени.

Она просто стояла и смотрела.

– Ты не тот, за кого себя выдаёшь, – сказала она.

– Я не выдаю себя, – ответил он. – Это делают другие.

– Ты не Дмитрий.

– Нет.

Она подошла ближе. Села напротив. Свеча осветила её лицо – красивое, но жёсткое, как у человека, который привык выживать.

– Кто ты?

– Я – монах.

– Это не ответ.

– Это единственный ответ, который у меня есть.

Она долго молчала. Потом сказала:

– Я знала, что ты не Дмитрий. С первого дня. Но мне было всё равно. Мне нужен был престол. Ты был средством.

– Я знаю.

– И ты не злишься?

– Нет.

– Почему?

Он посмотрел на неё. В его глазах не было ни гнева, ни печали. Только что-то другое – как будто он смотрел не на неё, а сквозь неё.

– Потому что я тоже средство, – сказал он. – Я всегда был средством. Для ордена. Для Бога. Для истории. Я не выбирал.

Марина нахмурилась.

– Для какого ордена?

Он не ответил.

– Ты меня пугаешь, – сказала она.

– Я знаю.

– Ты не человек.

– Я человек. Просто не такой, как ты.

Она встала. Подошла к двери. Обернулась.

– Что будет с тобой?

Он посмотрел на свечу. Пламя дрогнуло.

– Я уйду, – сказал он. – Когда придёт время.

– Куда?

– Туда, где меня ждут.

Она открыла дверь. В коридоре было темно.

– А если тебя не ждут?

Он не ответил.

Дверь закрылась.

Он остался один.

Он смотрел на свечу, и пламя становилось всё меньше, всё слабее. Скоро оно погаснет. И тогда – темнота.

Он закрыл глаза.

И снова услышал зов.

Не слова. Не звук. Но он знал: это они. Те, кто умеет летать. Те, кто ждёт его.

Он встал. Подошёл к окну. Открыл ставни.

Ночь была тёмная, безлунная. Где-то внизу спала Москва – город, который он не спас. Город, который его не понял. Город, который его убьёт.

Он посмотрел на небо.

– Я иду, – сказал он.

И шагнул.

Глава 3

Афон, наши дни

Алексей не спал всю ночь.

Он лежал в маленькой келье для гостей – узкая кровать, жёсткий матрас, икона в углу, окно, забранное решёткой, – и смотрел в потолок. Свиток лежал на столе. Он не трогал его. Он боялся трогать.

«Ты не читаешь. Ты вспоминаешь».

Эта фраза не выходила из головы. Она была как заноза – маленькая, но невозможно вытащить.

Он встал в четыре утра, когда за окном было ещё черно. Умылся холодной водой из кувшина. Вода обожгла лицо – резко, ярко, до боли. Надел рубашку, которую не снимал второй день. Сел за стол.

Свиток лежал перед ним. Обгоревшие края. Чёрная лента.

Он развязал ленту.

Пергамент был странный – не гладкий, не шершавый, а как будто живой. Тёплый на ощупь. Хотя в келье было холодно.

Алексей развернул свиток.

Текст шёл справа налево – как в древнейшем греческом или арабском. Буквы были знакомые: альфа, бета, гамма, но слова – нет. Он узнавал отдельные корни: «свет», «молчание», «сердце», «небо», «восход». Но они были соединены так, что смысл ускользал.

Он читал вслух – тихо, почти шёпотом:

– *Эн архе эн то фос…*

«В начале был свет…»

Это он понял. Дальше – нет.

Он попробовал читать по-другому – не словами, а как будто слушая. Как будто текст – это не запись, а звук, который нужно услышать.

И тогда произошло странное.

Буквы начали двигаться.

Не на пергаменте – в его глазах. Они расплывались, соединялись, распадались. Он моргнул. Не помогло. Он отвёл взгляд. Посмотрел на икону в углу. Перевёл дыхание.

– Ты устал, – сказал он себе. – Ты не спал. Это галлюцинация.

Он снова посмотрел на свиток.

Буквы стояли на месте. Ровные, чёткие, как будто их только что написали.

Он выдохнул.

– Ладно, – сказал он. – Читаем дальше.

Он читал час. Два. Три. Он не заметил, как за окном рассвело. Как чайки начали кричать. Как по коридору прошли монахи – тихо, как тени.

Он читал, и постепенно начал понимать.

Не всё. Но достаточно.

Текст был не богословским трактатом. И не инструкцией по левитации. Это было что-то другое.

Это была карта.

Не географическая. Не астрономическая. Это была карта точек, где мир истончается. Где граница между «здесь» и «там» становится тонкой, как папиросная бумага. Где человек может – если он готов, если он чист, если умеет молчать – перестать быть здесь и стать там.

И в этих точках – их было девятнадцать – история шла не так, как должна была.

Алексей откинулся на спинку стула. Сердце колотилось – он чувствовал его в горле, в висках, в пальцах.

– Это бред, – сказал он вслух. – Это средневековая мистика. Это…

Он замолчал.

Потому что внизу списка – в самом конце, после девятнадцатой точки – была приписка. Другим почерком. Более поздним. Чернила выцвели, но буквы были читаемы.

«Двадцатая – там, где ты стоишь».

Алексей посмотрел на свои ноги. На каменный пол. На тень от окна.

Потом – на море за окном.

Потом – на свиток.

– Нет, – сказал он. – Нет-нет-нет.

Он встал. Вышел из кельи. Прошёл по коридору – быстрым шагом, почти бегом. Спустился по лестнице. Вышел во двор.

Утро было яркое, солнечное. Монахи шли по своим делам. Кто-то нёс воду. Кто-то чинил сеть. Кто-то стоял у стены и смотрел на море.

Алексей подошёл к краю террасы. Внизу – обрыв. Метров сто. Может, больше. Внизу – камни. Внизу – море.

Он посмотрел на горизонт.

И почувствовал это.

Не головой. Не сердцем. Телом. Как будто кто-то – или что-то – тянуло его вперёд. Не вниз. Вперёд. Туда, где небо соединяется с водой.

Он сделал шаг назад.

– Господи, – прошептал он. – Что это?

– Это место, – сказал голос за спиной.

Алексей обернулся.

Отец Паисий стоял в двух шагах. В руках – чашка кофе. Пар поднимался в утреннем воздухе.

– Какое место? – спросил Алексей.

– Двадцатая точка, – сказал старик. – Мы ждали вас здесь. Долго ждали.

– Меня?

– Не вас лично. Того, кто прочтёт. Того, кто поймёт. Того, кто вспомнит.

Алексей смотрел на него. Потом – на море. Потом – на свои руки. Руки дрожали.

– Я не понимаю, – сказал он. – Я филолог. Я не мистик. Я не верю в чудеса.

– Знаю, – сказал отец Паисий. – Поэтому вы и подходите.

– Кому?

Старик улыбнулся. Той же странной улыбкой, что и вчера.

– Тем, кто умеет летать.

Он протянул Алексею чашку.

– Пейте, – сказал он. – Вам нужно.

Алексей взял чашку. Кофе был горячий, горький, настоящий.

Он сделал глоток.

– Что теперь? – спросил он.

– Теперь вы должны решить, – сказал отец Паисий. – Остаться здесь и дочитать. Или уехать и забыть.

– А если я дочитаю?

Старик посмотрел на море.

– Тогда вы узнаете, что делать дальше, – сказал он. – Но не от меня.

– А от кого?

Отец Паисий не ответил. Он просто смотрел на горизонт. И Алексей вдруг понял: старик видит там что-то. Что-то, чего не видит он.

– Кто вы такой? – спросил Алексей. – На самом деле?

Отец Паисий обернулся.

– Я – тот, кто не смог, – сказал он. – Я читал. Я понял. Но я не смог.

– Что не смог?

– Шагнуть.

Он сказал это тихо. Без горечи. Как человек, который давно смирился.

– А тот монах? – спросил Алексей. – Который исчез в 1938-м?

– Он смог, – сказал отец Паисий. – И не вернулся.

– Куда он ушёл?

Старик посмотрел на небо.

– Туда, где мы все должны быть, – сказал он. – Но не все могут.

Он забрал у Алексея пустую чашку.

– Идите, – сказал он. – Читайте. И помните: тот, кто начал читать, не всегда может остановиться.

Он повернулся и пошёл к монастырю.

Алексей остался один.

Он смотрел на море. На горизонт. На линию, где небо соединяется с водой.

И ему показалось – всего на мгновение, – что он видит там точку. Маленькую. Тёмную. Как будто кто-то стоит на воздухе и смотрит на него.

Он моргнул.

Точка исчезла.

Он вернулся в келью. Сел за стол. Взял свиток.

И продолжил читать.

Глава 4

Москва, 17 мая 1606 года

Утро началось с колокольного звона.

Не праздничного – тревожного. Так звонили только в двух случаях: пожар или война. Но пожара не было. И войны тоже. Было что-то хуже.

Было предательство.

Монах проснулся от этого звона и понял: сегодня.

Он не знал, откуда пришло это знание. Оно просто было – как холод в пальцах, как тяжесть в груди. Он лежал в постели, смотрел в потолок и слушал, как колокола бьют всё чаще, всё громче, как будто кто-то торопится сообщить миру о конце.

За окном кричали.

Он встал. Подошёл к окну. Открыл ставни.

Двор был полон людей.

Не бояр – их он знал в лицо. Это были другие. Стрельцы в красных кафтанах, посадские в сермягах, холопы в рваных рубахах, бабы с детьми на руках. Толпа. Настоящая толпа – не та, что встречала его на Красном крыльце, не та, что кричала «государь». Эта толпа пришла не встречать. Эта толпа пришла убивать.

И впереди стоял человек, которого он знал.

Василий Шуйский.

Князь, который кланялся ему три дня назад. Который целовал крест. Который говорил: «Ты – истинный царь». Сейчас он стоял с мечом в руке и кричал:

– Самозванец! Еретик! Расстрига!

Толпа подхватила:

– Расстрига! Расстрига!

Монах закрыл ставни.

Он не боялся. Он давно не боялся. Страх – это то, что привязывает к земле. А он уже был почти не здесь.

Он сел на кровать, посмотрел на свои руки, спокойные руки.

– Что ж, – сказал он вслух. – Пора.

В дверь постучали. Не стучали – ломились.

– Государь! – кричал голос. Власьев. – Государь, бегите! Они идут!

Монах не ответил.

Дверь треснула. Потом ещё раз. Потом рухнула.

В комнату ворвались стрельцы. Пятеро. При саблях. С глазами, как у волков.

Они остановились на пороге.

Монах сидел на кровати и смотрел на них.

– Ну? – сказал он. – Чего ждёте?

Стрельцы переглянулись. Никто не двинулся. Никто не поднял саблю.

– Он колдун, – прошептал один. – Он сглазит.

– Он не колдун, – сказал другой. – Он просто… смотрит.

Монах встал.

Стрельцы отшатнулись.

Он подошёл к окну. Открыл ставни. Толпа внизу заревела – увидела его.

– Вот он! – кричали. – Держи его!

– Убей! Убей!

– Сжечь!

Монах посмотрел на них. На Шуйского. На стрельцов за своей спиной. На небо, которое было серым и пустым.

И тогда он понял.

Он не может остаться. Не потому, что его убьют. А потому, что если он останется – они не остановятся. Они будут убивать всех: поляков, которые пришли с ним; бояр, которые ему служили; женщин, детей. Кровь будет литься рекой. И он будет причиной.

Он не хотел быть причиной.

Он хотел быть следствием.

Он закрыл глаза.

– Я не царь, – сказал он тихо. – Я не Дмитрий. Я не тот, кем вы меня считаете.

Толпа замерла.

– Я – тот, кто должен был быть в другом месте. Я – тот, кто не успел. Я – тот, кто уходит.

Он открыл глаза.

– Простите.

И шагнул в окно.

Толпа внизу ахнула.

Человек в монашеском платье вышел из окна второго этажа – и не упал. Он не полетел – он просто перестал быть здесь. Растворился в воздухе, как дым. Как будто его никогда не было.

На том месте, где он стоял секунду назад, остался только ветер.

Тишина.

Потом кто-то закричал:

– Колдун! Он улетел!

– Держи! Лови!

– Он там! На стене!

Стрельцы бросились к окну. Высунулись. Посмотрели вниз.

Никого.

Только толпа, которая смотрела вверх, раскрыв рты.

– Он исчез, – прошептал один из стрельцов. – Прямо на глазах.

Шуйский внизу побледнел. Он тоже видел. Все видели. И теперь все знали: этот человек – не самозванец. Он – что-то другое. Что-то, чего они не понимают.

И это было страшнее, чем самозванец.

– Ищите! – заорал Шуйский. – Он не мог далеко уйти! Обыскать всё!

Стрельцы бросились врассыпную.

Но они искали не там.

Монах стоял на колокольне Ивана Великого.

Он не помнил, как здесь оказался. Он не помнил полёта. Было только ощущение – как будто его подхватило и перенесло. Как будто кто-то – или что-то – взял его за руку и провёл через стену.

Он стоял и смотрел вниз.

Москва лежала под ним – маленькая, серая, суетливая. Люди бегали по улицам, как муравьи. Стрельцы тыкали саблями в сено. Бабы крестились. Дети плакали.

А в Кремле, в том самом тереме, откуда он только что ушёл, толпа ворвалась в комнату.

Он видел, как они вытащили кого-то.

Не его. Другого. Человека в похожем платье. Бледного, испуганного, с трясущимися руками. Кто это был? Он не знал. Может быть, слуга. Может быть, монах, который согласился умереть вместо него. Может быть, просто несчастный, который оказался не в том месте.

Толпа выволокла его на площадь. Шуйский что-то кричал. Люди поднимали сабли.

Монах отвернулся.

Он не хотел это видеть. Но он знал: это нужно. Это – часть плана. Не его плана. Чьего-то другого. Того, кто умеет летать. Того, кто ждёт его.

Он посмотрел на запад.

Там, за лесами, за реками, за границами, лежала земля, которую он знал. Земля, где его ждали.

Он закрыл глаза.

– Я иду, – сказал он.

И шагнул.

Внизу, на площади, толпа сжигала тело.

Оно горело плохо – сырое, тяжёлое, не хотело гореть. Люди подкладывали солому, лили смолу, ругались. Пахло палёным мясом и дымом – тяжёлым, жирным, тошнотворным.

Марина Мнишек смотрела на это из окна.

Она не плакала. Она не кричала. Она просто стояла и смотрела.

Рядом с ней стоял отец – Ежи Мнишек, воевода, старый, хитрый, с лицом, как у лисы.

– Это не он, – сказала Марина тихо.

Мнишек посмотрел на неё.

– Что?

– Это не он. Я знаю. Я видела, как он вышел из окна. Он не упал. Он исчез.

Мнишек нахмурился.

– Ты бредишь.

– Нет, – сказала Марина. – Я видела. И все видели. Но они не поняли.

Она повернулась к отцу.

– Он не умер. Он ушёл.

– Куда?

Она посмотрела на небо. Серое, пустое, без единого облака.

– Туда, – сказала она. – Где его ждут.

Мнишек долго молчал. Потом сказал:

– Это ничего не меняет. Он мёртв для истории.

– Да, – сказала Марина. – Для истории. Но не для нас.

Она отошла от окна.

– Я уезжаю, – сказала она. – В Польшу. И ты поедешь со мной.

– А как же престол?

Она посмотрела на него.

– Какой престол, отец? Царя больше нет. Есть только пепел.

Она вышла.

Мнишек остался один. Он смотрел на площадь, где догорало тело. Потом – на небо. Потом – на свои руки, которые дрожали.

– Что это было? – прошептал он. – Господи, что это было?

Ответа не было.

Афон, наши дни

Алексей дочитал до этого места и остановился.

Он сидел в келье, перед ним лежал свиток. За окном кричали чайки. Море было синим – слишком синим, как на открытке.

Он посмотрел на текст.

Там было написано – он теперь понимал это ясно, как никогда:

«И он ушёл. И никто не видел, куда. И тело, которое сожгли, было не его. Ибо он не умер. Ибо он не мог умереть. Ибо он был тот, кто умеет летать».

Алексей откинулся на спинку стула.

– Это не документ, – сказал он вслух. – Это…

Он замолчал.

Потому что понял: это не документ. Это свидетельство. Написанное человеком, который был там. Который видел. Который знал.

Он посмотрел на подпись внизу.

Она была стёрта. Но осталась буква, и осталась точка.

«П.»

Он нахмурился.

Потом посмотрел на окно.

За окном, на горизонте, где небо соединяется с водой, снова была точка. Маленькая. Тёмная.

Он моргнул.

Точка не исчезла.

Она приближалась.

Глава 5

Афон, наши дни

Точка на горизонте не исчезла.

Алексей смотрел на неё минуту, две, три. Она не двигалась. Но и не пропадала. Маленькая, тёмная, как будто кто-то стоял на воздухе и ждал.

Потом он моргнул – и точка исчезла.

Он сидел ещё долго, глядя на море. Солнце поднималось, чайки кричали, монахи во дворе занимались своими делами. Мир был нормальный. Мир был обычный. Мир был такой, каким должен быть.

И всё же – что-то изменилось.

Он не мог сказать что. Но чувствовал: что-то сдвинулось. Как будто в комнате, где он жил всю жизнь, кто-то тихо переставил мебель. Он ещё не видел, что именно, но уже знал: по-старому не будет.

Он вернулся к свитку.

Читал до полудня. Текст шёл медленно – не потому, что был сложный, а потому, что каждый абзац требовал остановки. Не для понимания – для воспоминания. Как будто слова не сообщали ему что-то новое, а будили то, что он всегда знал, но забыл.

К полудню он дошёл до места, где начинался список.

Девятнадцать точек. С названиями – не географическими, а описательными. «Точка, где море встречает небо». «Точка, где камень помнит огонь». «Точка, где молчание становится словом».

И рядом с каждой – имя. Не человека. Места. Или – события.

«Константинополь. 1453».

«Лондон. 1613».

«Москва. 1812».

«Святая Елена. 1821».

«Чернобыль. 1986».

Алексей читал и чувствовал, как холод поднимается по спине.

Это были не просто даты. Это были узлы. Места, где история сломалась. Где что-то пошло не так – или так, как должно было. Где орден – или кто-то другой – вмешался.

Он дошёл до конца списка.

Девятнадцатая точка.

«Афон. Наши дни».

Он замер.

Потом посмотрел на приписку внизу – ту самую, другим почерком:

«Двадцатая – там, где ты стоишь».

Он перечитал. Потом ещё раз. Потом отложил свиток.

– Это невозможно, – сказал он вслух. – Это…

В дверь постучали.

Алексей вздрогнул.

– Да?

Дверь открылась. На пороге стоял молодой монах – худой, с длинной бородой, с глазами, которые смотрели слишком внимательно.

– Отец Паисий просит вас прийти, – сказал он. – У него для вас кое-что есть.

Алексей встал.

– Что именно?

Монах не ответил. Он просто повернулся и пошёл.

Алексей последовал за ним.

Отец Паисий ждал в библиотеке.

Он сидел за столом, перед ним лежал второй свиток – точно такой же, как первый. Обгоревшие края. Чёрная лента.

– Это… – начал Алексей.

– Второй фрагмент, – сказал отец Паисий. – Мы нашли его сегодня утром. В тайнике, который был замурован в стене.

– Сегодня утром?

– Да.

Алексей сел напротив.

– Кто его нашёл?

– Я, – сказал отец Паисий. – Но не искал. Он сам… появился.

Алексей посмотрел на свиток. Потом на старика.

– Вы понимаете, как это звучит?

– Понимаю, – сказал отец Паисий. – И всё же – это правда.

Он развернул свиток.

– Смотрите.

Алексей наклонился.

Текст был на том же языке – смесь греческого, славянского, шифра. Но этот фрагмент был другой. Он был пронумерован. И в нём были имена.

«Силуан. Первый. Ушёл в 1130. Не вернулся».

«Григорий. Второй. Ушёл в 1360. Вернулся. Молчал».

«Димитрий. Третий. Ушёл в 1606. Не вернулся».

Алексей поднял глаза.

– Димитрий?

– Лжедмитрий, – сказал отец Паисий. – Он был одним из нас.

– Он был монахом?

– Он был летающим монахом. Он ушёл из Москвы в 1606 году. Тело, которое сожгли, – не его.

Алексей откинулся на спинку стула.

– Вы хотите сказать, что человек, которого я только что читал, – реальный? Что он существовал?

– Он существует, – сказал отец Паисий. – До сих пор.

Тишина.

– Где?

Старик посмотрел на него.

– Везде, – сказал он. – И нигде. Он не может вернуться. И не может уйти. Он – точка истончения. Живая точка.

Алексей почувствовал, как у него пересохло во рту.

– Это бред, – сказал он. – Это средневековая мистика. Это…

– Это список, – сказал отец Паисий. – Смотрите дальше.

Алексей посмотрел.

Внизу списка – после Димитрия – были ещё имена.

«Уильям. Четвёртый. Ушёл в 1613. Вернулся. Писал».

Алексей нахмурился.

– Уильям?

– Шекспир, – сказал отец Паисий. – Он был одним из нас.

Алексей долго молчал.

Потом сказал:

– Шекспир был монахом?

– Он был летающим монахом. Он пытался создать новый Афон в Лондоне. Театр «Глобус». Он думал, что актёры смогут научиться летать через игру.

– И?

– Они не смогли, – сказал отец Паисий. – Игра – это перевоплощение. Полёт – это неперевоплощение. Они противоположны.

Алексей посмотрел на свиток. Потом на старика. Потом на свои руки.

– Почему вы мне это рассказываете? – спросил он. – Почему я?

Отец Паисий встал. Подошёл к окну. Посмотрел на море.

– Потому что вы – следующий, – сказал он.

– Следующий кто?

– Следующий в списке.

Алексей замер.

– Нет, – сказал он. – Нет. Я не…

– Вы читали устав, – сказал отец Паисий. – Вы поняли его. Вы видели точку на горизонте.

– Откуда вы знаете?

– Я тоже её видел, – сказал старик. – Когда читал. Много лет назад.

Он обернулся.

– Но я не смог шагнуть. Я испугался. И остался здесь. На всю жизнь.

– А если я не хочу?

– Тогда вы уедете, – сказал отец Паисий. – Забудете. Вернётесь к своей жизни. Но точка не исчезнет. Она будет ждать.

– Сколько?

– Всегда.

Алексей встал. Подошёл к двери. Обернулся.

– Что во втором свитке? – спросил он. – Что там ещё?

Отец Паисий улыбнулся. Той же странной улыбкой.

– Там написано, где найти третий, – сказал он. – В Лондоне. В театре «Глобус».

Алексей посмотрел на него.

– В «Глобусе»?

– Да, – сказал отец Паисий. – Там, где Шекспир пытался научить актёров летать.

Он протянул Алексею свиток.

– Возьмите. И решайте.

Алексей взял свиток. Он был тёплый. Как будто живой.

– Я не верю в это, – сказал он.

– Знаю, – сказал отец Паисий. – Поэтому вы и подходите.

Алексей вышел.

Он вернулся в келью. Сел за стол. Положил перед собой оба свитка.

Первый – с картой точек. Второй – со списком имён.

Он посмотрел на них. Потом на окно. Потом на море.

Точка на горизонте не появлялась. Но он знал: она там. Ждёт.

Он взял телефон – впервые за два дня. Связи не было. Но он всё равно посмотрел на экран. На заставке – фотография Лондона. Он сделал её год назад, когда был там на конференции.

Он смотрел на неё долго.

Потом открыл чемодан. Достал блокнот. Ручку.

И начал писать.

«Если это правда, – писал он, – то я должен поехать в Лондон. Найти третий свиток. Понять, что делать. Если это ложь – я должен поехать в Лондон, чтобы доказать, что это ложь. В любом случае – я должен поехать».

Он закрыл блокнот.

Посмотрел на свитки.

Потом на окно.

Точка на горизонте появилась снова. Маленькая. Тёмная. И – он был уверен – она кивнула.

Он моргнул.

Точка исчезла.

Он встал. Начал собирать вещи.

Глава 6

Лондон, лето 1599 года

«Глобус» пах свежим деревом.

Он был построен из дуба, который срубили в Кенте, и от него шёл запах смолы, стружки и той особенной сырости, которая бывает в новых зданиях, ещё не просохших после стройки. Театр стоял на южном берегу Темзы, среди борделей, пивных и медвежьих ям – место, которое почтенные люди называли «рассадником греха», а актёры – домом.

Уильям стоял в центре сцены и смотрел вверх.

Над ним было небо – не купол, не крыша, а настоящий открытый двор, окружённый деревянными галереями. Отсюда, из центра, небо казалось колодцем. Или – дырой. Или – дверью.

Он смотрел на небо и ждал.

Он ждал уже три года.

– Уильям!

Он обернулся.

Ричард Бёрбедж – лучший актёр Англии, человек с лицом, которое могло быть любым, – шёл к нему через партер. Он был в рубашке, без камзола, вспотевший после репетиции.

– Ты снова стоишь и смотришь вверх, – сказал Бёрбедж. – Как будто ждёшь, что оттуда что-то упадёт.

– Жду, – сказал Уильям.

– Что?

– Не что. Кого.

Бёрбедж остановился. Посмотрел на него.

– Ты странный человек, Уильям. Все это говорят. Но я тебе верю. Не знаю почему – но верю.

– Спасибо, – сказал Уильям.

Он опустил глаза. Посмотрел на сцену. На доски, которые ещё пахли лесом. На занавес, которого тогда еще не существовало. На актёров, которые репетировали в углу – молодые, шумные, живые.

Он любил их. Всех. Даже тех, кто не умел играть. Даже тех, кто пил. Даже тех, кто предавал.

Он любил их, потому что они были здесь. На земле. Тяжёлые, потные, настоящие.

А он – нет.

Он давно не был здесь. Он был везде. И нигде. Он мог закрыть глаза и оказаться в Венеции. В Константинополе. В Москве. В Новом Свете.

Но он не мог остаться.

Он не мог остаться нигде.

– Уильям, – сказал Бёрбедж. – Ты меня слушаешь?

– Да, – сказал Уильям. – Прости.

– Я говорю: мы должны начать с «Гамлета». Или с «Юлия Цезаря». Или с…

– Нет, – сказал Уильям.

– Что – нет?

– Мы начнём с другого.

Он посмотрел на Бёрбеджа.

– Мы начнём с полёта.

Бёрбедж нахмурился.

– С чего?

– С полёта. Я хочу, чтобы ты научился летать.

Тишина.

Потом Бёрбедж рассмеялся. Громко, искренне, как человек, который услышал хорошую шутку.

– Летать? Уильям, я актёр, а не птица. Я не умею летать. Никто не умеет.

– Я умею, – сказал Уильям.

Бёрбедж замолчал.

Он смотрел на Уильяма долго. Потом сказал:

– Ты серьёзно?

– Да.

– Ты… – Бёрбедж сглотнул. – Ты хочешь сказать, что ты можешь…

– Да.

– Покажи.

Уильям закрыл глаза.

Он не делал ничего особенного. Он просто перестал быть здесь. Он не напрягался. Не молился. Не пытался. Он просто отпустил себя – как отпускают верёвку, за которую держался.

И когда он открыл глаза, он стоял на галерее – в десяти метрах над сценой. Бёрбедж смотрел на него снизу, открыв рот.

– Господи, – прошептал актёр. – Господи Иисусе.

Уильям шагнул обратно. Не спустился – оказался на сцене. Рядом с Бёрбеджем.

– Как? – спросил Бёрбедж. – Как ты это делаешь?

– Это не я, – сказал Уильям. – Это не умение. Это состояние. Ты не летаешь. Ты просто перестаёшь быть здесь.

– Я не понимаю.

– Я знаю. Поэтому я хочу тебя научить.

Бёрбедж посмотрел на него. В его глазах был страх. И что-то ещё – что-то, похожее на надежду.

– Зачем? – спросил он.

– Затем, что мир рушится, – сказал Уильям. – И я не могу его спасти один. Мне нужны другие. Много других. Целая армия.

– Армия летающих актёров?

– Армия летающих людей. Театр – это не просто зрелище. Это школа. Если актёр может перестать быть собой на сцене, он может перестать быть собой в мире. И тогда он сможет летать.

Бёрбедж долго молчал. Потом сказал:

– Ты безумец.

– Да, – сказал Уильям. – Но я умею летать. А ты – нет. Пока.

Он улыбнулся.

– Начнём завтра. На рассвете.

Они начали завтра.

И продолжали год.

Уильям учил их вовсе не играть. Он учил их молчать. Он учил их стоять на сцене и ничего не делать – просто быть. Присутствовать. Не изображать – быть.

Это было труднее всего.

Актёры привыкли играть. Они привыкли быть другими. Гамлетом, Отелло, королём Лиром. Они надевали маски и становились кем-то. Это было их искусство. Это было их спасение.

Но Уильям требовал обратного.

– Перестань быть Гамлетом, – говорил он. – Стань никем. Тогда ты сможешь стать всем.

– Я не понимаю, – говорил Бёрбедж.

– Я знаю. Продолжай.

Они пытались. День за днём. Неделя за неделей.

И ничего не происходило.

Актёры стояли на сцене. Молчали. Смотрели в небо. Ждали. Но не летали.

– Почему? – спросил однажды Бёрбедж. – Почему мы не можем?

Уильям сидел на краю сцены. Смотрел на доски.

– Потому что вы играете, – сказал он. – Даже когда молчите – вы играете молчание. Даже когда стоите – вы играете стояние. Вы не можете перестать играть. Это ваша природа.

– Но ты можешь.

– Я не актёр.

– Ты пишешь пьесы.

– Да. Но я не играю. Я пишу. И когда я пишу – я тоже перестаю быть здесь. Но я не играю. Я просто… – он замолчал. Подбирал слово. – Я просто слушаю.

Бёрбедж сел рядом.

– Что ты слушаешь?

– Всё, – сказал Уильям. – Ветер. Слова. Людей. Бога. Всё это – одно и то же. Если слушать правильно.

– И тогда ты летаешь?

– Тогда я перестаю быть здесь.

Бёрбедж долго молчал. Потом сказал:

– Я не могу. Я пробовал. Я не могу.

– Я знаю, – сказал Уильям. – И это не твоя вина. Это природа театра. Актёр должен быть другим. А чтобы летать – нужно быть никем.

Он встал.

– Я ошибся, – сказал он. – Театр не может стать Афоном.

– Афоном?

– Не важно, – сказал Уильям. – Место, откуда я пришёл. Место, где люди умеют летать.

Бёрбедж посмотрел на него.

– Ты вернёшься туда?

– Не знаю, – сказал Уильям. – Может быть.

Он пошёл к выходу.

– Уильям!

Он обернулся.

– Что нам делать? – спросил Бёрбедж. – Нам – актёрам? Если мы не можем летать?

Уильям посмотрел на него. Долго. Потом сказал:

– Играйте. Играйте так, как будто можете. И может быть – однажды – кто-то из вас вспомнит.

– Что вспомнит?

– Что он умеет летать.

Он вышел.

Ночью он сидел один в «Глобусе».

Театр был пуст. Только свеча на сцене. Только тени на галереях. Только небо над головой – чёрное, беззвёздное.

Он писал.

Не пьесу. Письмо. Или – то, что должно было стать письмом. Но слова не шли.

Он смотрел на бумагу и думал: зачем? Зачем он пытался? Зачем учил их? Зачем верил?

Он знал ответ.

Он хотел не быть один.

Он летал тысячу лет – или больше, он не считал. Он видел империи. Он видел, как рушатся города. Он видел, как умирают люди, которых он любил. И он не мог ничего сделать. Потому что он был один.

Он хотел армию. Не для войны. Для присутствия. Чтобы кто-то ещё мог быть там, где он. Чтобы кто-то ещё мог видеть то, что видит он.

Но театр не дал ему этого.

Театр дал ему другое.

Он дал ему слова.

И слова – он понял это только сейчас – были лучше, чем полёт.

Потому что полёт заканчивается. А слово – остаётся.

Он взял перо.

И начал писать.

«Быть или не быть…»

Он не знал, что это будет. Он не знал, что это останется на четыреста лет. Он просто писал – и в этом письме было всё: и полёт, и падение, и страх, и надежда. Всё, чему он не смог научить актёров. Всё, что он не смог сказать.

Он писал до рассвета.

А когда рассвет начал проникать в «Глобус» – через открытый двор, через галереи, через деревянные стены, – он отложил перо.

И посмотрел на небо.

Оно было серым. Обычным. Лондонским.

И всё же – на мгновение – ему показалось, что там, наверху, кто-то стоит.

Он моргнул.

Никого.

Он встал. Собрал бумаги. Пошёл к выходу.

У двери обернулся.

«Глобус» был пуст. Только сцена. Только свеча, которая догорала. Только слова, которые ещё не были написаны.

– Простите, – сказал он тихо. – Я не смог.

И вышел.

Афон, наши дни

Алексей дочитал до этого места и остановился.

Он сидел в келье. Перед ним лежали оба свитка – первый и второй. За окном было утро. Море было синим. Чайки кричали.

Он посмотрел на текст.

Там было написано – он теперь понимал это ясно:

«И он ушёл. И не вернулся. Ибо понял: театр – не Афон. Ибо понял: слово – не полёт. Но слово – остаётся. И в слове – тоже есть свет».

Алексей откинулся на спинку стула.

– Он не смог, – сказал он вслух. – Шекспир не смог научить их летать.

Он посмотрел на подпись внизу.

Там было уже две буквы.

«У. Ш.»

Он нахмурился.

Потом посмотрел на окно.

На горизонте – там, где небо соединяется с водой, – снова была точка. Маленькая. Тёмная.

Но теперь она была ближе.

И – он был уверен – она ждала.

Он встал. Собрал свитки. Положил их в рюкзак.

Пора в Лондон.

Глава 7

Афон, наши дни

Алексей нашёл записи Шекспира в тот же день.

Он не искал их. Он вообще не собирался искать. Он собирался уехать – собрать вещи, спуститься к пристани, сесть на паром. Но когда он вернулся в келью, на столе лежала книга.

Он не оставлял там книгу.

Он остановился на пороге.

Книга была старая – в кожаном переплёте, потёртом, с трещинами на корешке. На обложке – ничего. Ни названия, ни имени. Только тиснение – едва заметное, стёршееся. Он подошёл ближе. Присмотрелся.

Это был герб. Не английский. Не критский. Что-то другое. Он не мог разобрать.

Он открыл книгу.

Это был том Шекспира. Первое фолио? Нет – не первое. Что-то более раннее. Сборник пьес, изданный при жизни. Лондон, 1600 год. «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Генрих IV».

Алексей знал эти тексты. Он преподавал их. Но эта книга была другой.

Он открыл первую страницу.

На полях – записи. Мелким почерком. Греческими буквами. Не печатными – рукописными. Как будто кто-то читал и отвечал тексту.

Он начал читать.

«Сон в летнюю ночь». Акт II, сцена 1.

На полях, рядом со словами Титании:

«И я могу летать, куда хочу…»

Запись на греческом:

«Она не знает. Она думает, что это метафора. Она не понимает, что это правда. Я писал это для тех, кто вспомнит».

Алексей замер.

Он перевернул страницу.

«Венецианский купец». Акт V, сцена 1.

Лоренцо говорит Джессике:

«Как тихо светит эта ночь…»

Запись на греческом:

«Свет – это не метафора. Свет – это то, что остаётся, когда ты перестаёшь быть здесь. Я не смог научить их. Но я могу написать так, чтобы они вспомнили».

Алексей закрыл книгу.

Сердце колотилось.

Он сел на кровать. Посмотрел на книгу. Потом на окно. Потом на море.

– Это невозможно, – сказал он вслух. – Шекспир не знал греческого. Шекспир не был монахом. Шекспир…

Он замолчал.

Потому что понял: он ничего не знает о Шекспире. Никто не знает. Мы не знаем, кем он был. Мы не знаем, что он делал. Мы знаем только его тексты. И тексты говорили сами за себя.

Он снова открыл книгу.

Теперь он читал записи, а не пьесы. Записи были везде – на полях, между строк, на форзаце, на последней странице. Греческие буквы, славянские слова, цифры, символы.

Он читал час. Два. Три.

К полудню он понял: это не комментарии. Это инструкции. Шекспир оставил в своих пьесах карту. Не географическую – карту состояний. Каждая пьеса – это точка. Каждый монолог – это шаг. Каждая реплика – это дверь.

Он дошёл до последней страницы.

Там, внизу, под текстом «Бури» – последней пьесы Шекспира, – была приписка. Другим почерком. Более поздним.

«Тот, кто прочтёт это, должен пойти в Лондон. В театр „Глобус“. Там – третий фрагмент. Там – ответ. Не бойся. Ты не один».

Алексей отложил книгу.

Он смотрел на неё долго.

Потом встал. Подошёл к окну. Открыл ставни.

На горизонте – там, где небо соединяется с водой, – снова была точка. Маленькая. Тёмная.

Но теперь она была ближе. И – он был уверен – она смотрела на него.

Он не отвёл взгляда.

– Кто ты? – спросил он тихо.

Точка не ответила.

Но – на мгновение – ему показалось, что она качнулась. Как будто кивнула.

Он моргнул.

Точка исчезла.

Он закрыл ставни. Вернулся к столу. Сел. Посмотрел на книгу.

Потом взял телефон. Связи не было. Но он всё равно открыл заметки. Начал писать.

«Если это правда – я должен ехать в Лондон. Найти третий фрагмент. Понять, что делать. Если это ложь – я должен ехать в Лондон, чтобы доказать, что это ложь. В любом случае – я должен ехать».

Он остановился.

Потом добавил:

«Но сначала – я должен понять, кто оставил мне эту книгу».

Он встал. Вышел из кельи. Пошёл в библиотеку.

Отец Паисий сидел за столом.

Перед ним была чашка кофе. Он не пил. Он просто смотрел на неё.

Алексей вошёл. Закрыл дверь. Подошёл к столу.

– Кто оставил книгу в моей келье? – спросил он.

Отец Паисий поднял глаза.

– Какую книгу?

– Шекспира. С записями. Она лежала на моём столе. Я её не приносил.

Старик долго молчал. Потом сказал:

– Я не знаю.

– Вы не знаете?

– Я не знаю, – повторил отец Паисий. – Но я могу предположить.

– Предположите.

Отец Паисий встал. Подошёл к окну. Посмотрел на море.

– В 1938 году, – сказал он, – монах, который перевёл первый свиток, ушёл. Он вышел на балкон и не вернулся. Но перед этим он оставил вещь.

– Какую вещь?

– Книгу, – сказал отец Паисий. – Шекспира. С записями на полях. Он говорил, что она пришла к нему сама.

Алексей нахмурился.

– Сама?

– Он говорил, что нашёл её в тайнике, который не был замурован. Он говорил, что она появилась. Как второй свиток сегодня утром.

Алексей посмотрел на старика.

– Вы хотите сказать, что книга путешествует?

– Я хочу сказать, – сказал отец Паисий, – что книга ждёт. Как свитки. Как точки. Как всё остальное.

Он обернулся.

– Она ждала своего читателя. И дождалась.

Алексей молчал.

Потом сказал:

– Кто был тот монах? Который ушёл в 1938-м?

Отец Паисий долго не отвечал. Потом сказал:

– Его звали отец Серафим. Он был моим учителем.

– Он улетел?

– Да.

– Куда?

Старик посмотрел на небо.

– Туда, где мы все должны быть, – сказал он. – Но не все могут.

Он снова сел. Взял чашку. Сделал глоток.

– Вы поедете в Лондон? – спросил он.

– Да, – сказал Алексей. – Но не один.

Отец Паисий поднял бровь.

– Не один?

– Вы поедете со мной.

Старик улыбнулся. Той же странной улыбкой.

– Я не могу, – сказал он.

– Почему?

– Потому что я – не летающий, – сказал отец Паисий. – Я – тот, кто ждёт. Я остаюсь здесь. Всегда.

Он посмотрел на Алексея.

– Но вы – не один. У вас есть книга. У вас есть свитки. У вас есть они.

– Кто – они?

Отец Паисий не ответил.

Он просто посмотрел на море.

– Идите, – сказал он. – Паром уходит в четыре.

Алексей встал. Пошёл к двери. Обернулся.

– Отец Паисий.

– Да?

– Что будет, если я не вернусь?

Старик улыбнулся.

– Тогда вы станете точкой, – сказал он. – И кто-то другой будет читать о вас.

Алексей вышел.

Он вернулся в келью. Собрал вещи. Положил в рюкзак оба свитка. Книгу Шекспира. Блокнот. Ручку.

Посмотрел на икону в углу. На окно. На море.

Потом вышел.

Во дворе его ждал молодой монах – тот самый, с длинной бородой и внимательными глазами. Он держал конверт.

– Вам, – сказал он.

Алексей взял конверт. Открыл.

Внутри – билет на самолёт. Фессалоники – Лондон. Вылет сегодня вечером.

Он посмотрел на монаха.

– Кто это оставил?

Монах не ответил. Он просто повернулся и пошёл.

Алексей посмотрел на билет.

Потом на небо.

Точка на горизонте – там, где небо соединяется с водой, – была ближе. И – он был уверен – она улыбалась.

Он моргнул.

Точка исчезла.

Он пошёл к пристани.

Глава 8

Лондон, 29 июня 1613 года

Пожар начался в полдень.

Уильям был в «Глобусе» – сидел в задней комнате, за кулисами, и правил текст. Не пьесу – письмо. Или то, что должно было стать письмом. Но слова не шли. Он смотрел на бумагу и думал: зачем?

Зачем он писал? Зачем учил? Зачем верил?

Он знал ответ. Но ответ был слишком простой, чтобы быть правдой.

Он хотел не быть один.

Он летал больше тысячи лет. Он видел, как рушатся империи. Он видел, как умирают люди, которых он любил. Он видел, как мир идёт не туда – и не мог ничего сделать. Потому что он был один.

Театр должен был стать его армией. Не для войны – для присутствия! Чтобы кто-то ещё мог быть там, где он. Чтобы кто-то ещё мог видеть то, что видит он.

Но театр не дал ему этого.

Театр дал ему слова.

И слова – он понял это только сейчас – были лучше, чем полёт.

Потому что полёт заканчивается. А слово – остаётся.

Он отложил перо.

И в этот момент услышал крик.

– Пожар! Пожар!

Он вскочил. Выбежал из комнаты. Через коридор – в партер.

Дым.

Не густой – пока. Серый, лёгкий, как утренний туман. Но он шёл откуда-то сверху. С галерей. С крыши.

– Где? – крикнул Уильям. – Где горит?

– Крыша! – кричал кто-то. – Крыша!

Уильям посмотрел вверх.

Соломенная крыша «Глобуса» горела.

Не ярко – пока. Огонь только начинал. Но ветер был сильный – южный, с Темзы. И огонь шёл быстро.

– Воду! – кричал Бёрбедж. – Несите воду!

Люди бегали. Актёры, слуги, зрители – все, кто был в театре. Кто-то тащил вёдра. Кто-то – багры. Кто-то просто стоял и смотрел.

Уильям стоял и смотрел тоже.

Он не двигался.

Он знал: это конец.

Не потому, что пожар нельзя потушить. А потому, что так должно быть. «Глобус» не стал Афоном. Он не смог. И теперь – сгорал.

Огонь распространялся по крыше. Солома вспыхивала мгновенно. Пламя перекинулось на галереи. Дерево трещало. Люди кричали.

– Уильям! – Бёрбедж схватил его за руку. – Уходи! Сейчас же!

– Нет, – сказал Уильям.

– Что значит – нет?

– Я должен видеть.

Бёрбедж посмотрел на него. В его глазах был страх. И что-то ещё – что-то, похожее на понимание.

– Ты знал, – сказал он. – Ты знал, что это случится.

– Да, – сказал Уильям.

– Почему ты не предотвратил?

– Потому что не мог.

Бёрбедж отпустил его руку.

– Ты не человек, – сказал он.

– Нет, – сказал Уильям. – Я человек. Просто не такой, как ты.

Он посмотрел на огонь. На театр. На людей, которые бегали и кричали.

– Я хотел спасти мир, – сказал он. – Но мир не спасается театром. Мир спасается чем-то другим.

– Чем?

Уильям не ответил.

Он повернулся и пошёл к выходу.

– Уильям! – крикнул Бёрбедж. – Куда ты?

Уильям остановился. Обернулся.

– Я ухожу, – сказал он. – Возвращаюсь туда, откуда пришёл.

– Ты вернёшься?

Уильям посмотрел на него. Долго.

– Нет, – сказал он. – Но мои слова – вернутся.

Он вышел.

Он шёл по Саутворку.

За его спиной горел «Глобус». Дым поднимался в небо – чёрный, густой, как будто кто-то зачеркнул небо. Люди бежали на пожар. Кто-то кричал. Кто-то плакал. Кто-то смеялся –

потому что человек так устроен: когда рушится что-то большое, всегда находится тот, кто смеётся.

Уильям не оборачивался.

Он шёл на восток – туда, где Темза делала поворот, где стояли старые склады, где начинались доки. Там, в одном из складов, был тайник. Не его. Ордена. Место, где можно было оставить вещи. Или – уйти.

Он дошёл до склада. Открыл дверь. Вошёл.

Внутри было темно. Пахло пенькой, смолой, сыростью. Он подошёл к стене. Нажал на кирпич. Стена отъехала.

За ней была комната.

Маленькая. Каменная. С иконой в углу. С свечой на столе. С свитком на столе.

Уильям подошёл. Взял свиток. Развернул.

Это был устав. Тот самый. Копия. Или – оригинал. Он не знал.

Он положил свиток обратно. Сел на стул. Посмотрел на икону.

– Я не смог, – сказал он тихо. – Я хотел научить их летать. Но они не смогли.

Икона молчала.

– Я хотел создать новый Афон. Но театр – не Афон. Театр – это тень. Тень Афона. Тень полёта.

Он замолчал.

Потом сказал:

– Но слова – остаются. Слова – это тоже свет. Может быть, не тот. Но свет.

Он встал. Подошёл к свече. Зажёг её.

Потом сел. Взял перо. Бумагу.

И начал писать.

Он писал всю ночь.

Он писал не пьесу. Не письмо. Он писал инструкцию. Для тех, кто придёт после. Для тех, кто будет читать его пьесы и не понимать, что они – карта. Он писал ключ.

К утру он закончил.

Он отложил перо. Посмотрел на написанное.

Потом взял свиток. Положил его в тайник. Закрыл стену.

Вышел из склада.

Над Лондоном всё ещё висел дым. «Глобус» догорал. Но Уильям не смотрел на него.

Он смотрел на небо.

На восток.

– Я иду, – сказал он.

И шагнул.

Афон, наши дни

Алексей дочитал до этого места и остановился.

Он сидел в самолёте. Фессалоники – Лондон. Вечерний рейс. За окном было темно. Только огни городов внизу – как звёзды, которые упали на землю.

Он посмотрел на свиток.

Там было написано:

«И он ушёл. И не вернулся. Ибо понял: театр – не Афон. Но слово – остаётся. И в слове – тоже есть свет. И тот, кто прочтёт его пьесы, – вспомнит. И тот, кто вспомнит, – сможет».

Алексей откинулся в кресле.

– Шекспир ушёл, – сказал он вслух. – Но оставил инструкции.

Он посмотрел на книгу. На пьесы. На записи на полях.

Потом посмотрел в окно.

Внизу – огни. Вверху – темнота.

И где-то там, в темноте, – точка. Маленькая. Тёмная.

Он моргнул.

Точка не исчезла.

Она летела рядом с самолётом.

Он смотрел на неё долго. Потом закрыл глаза.

– Я не боюсь, – сказал он тихо. – Я иду.

Он открыл глаза.

Точка исчезла.

Но он знал: она там. Ждёт.

Самолёт приступил к снижению.

Лондон приближался.

Глава 9

Лондон, наши дни

Лондон встретил его дождём.

Мелким, серым, упрямым – тем самым, который бывает только здесь, на Темзе, когда небо опускается на город и висит над ним неделями, как мокрое одеяло. Алексей вышел из терминала, поймал такси и назвал адрес отеля – маленького, в Саутворке, недалеко от реки.

Он выбрал его специально.

Потому что «Глобус» был там.

Не тот «Глобус», который стоит сейчас на набережной – реконструкция, музей, туристы с селфи-палками. А настоящий. Тот, который сгорел в 1613 году. Тот, который Шекспир построил как новый Афон.

Он не знал точно, где он был. Никто не знал. Но Алексей читал достаточно, чтобы догадываться: старый «Глобус» стоял не там, где сейчас реконструкция. Он стоял восточнее, в Саутворке, среди складов и доков. Там, где сейчас – бетон, стекло, офисы. И – если верить книге Шекспира – тайник.

Он приехал в отель в полночь. Бросил рюкзак на кровать. Не стал распаковываться. Сел у окна. Посмотрел на Темзу.

Река была чёрная. Огни отражались в ней, как звёзды, которые утонули. Где-то вдалеке – Тауэр, мост, колесо обозрения. Всё – как на открытке. Всё – как должно быть.

И всё же – что-то было не так.

Он чувствовал это. Как будто воздух был плотнее. Как будто кто-то смотрел.

Он обернулся.

Никого.

Он встал. Подошёл к рюкзаку. Достал книгу Шекспира. Открыл на последней странице.

Записи. Греческие буквы. Символы. Цифры.

Он читал их в самолёте. Читал в такси. Читал в отеле. И теперь – читал снова. Потому что чувствовал: там что-то есть. Что-то, что он пропустил.

Он дошёл до последней строки.

«Тот, кто прочтёт это, должен пойти в Лондон. В театр „Глобус“. Там – третий фрагмент. Там – ответ. Не бойся. Ты не один».

Он смотрел на эти слова долго.

– «Ты не один», – сказал он вслух. – Что это значит?

Ответа не было.

Он закрыл книгу. Посмотрел на часы. Полночь.

Пора.

Он шёл по Саутворку.

Дождь кончился. Улицы были мокрые, блестящие, как будто кто-то вымыл их с мылом. Фонари отражались в лужах. Редкие прохожие – пьяные, спешащие, одинокие – проходили мимо, не глядя на него.

Он шёл на восток.

Он не знал точно, куда идёт. Но что-то вело его. Как будто внутри был компас, который показывал не на север, а на что-то другое. На точку. На место. На дверь.

Он прошёл мимо старых складов – теперь это были офисы, бары, галереи. Мимо новой застройки – стекло, бетон, сталь. Мимо моста – Тауэрский мост, освещённый, как ёлка.

И потом остановился.

Он стоял перед старым зданием.

Не офис. Не бар. Что-то другое. Кирпич, тёмный от времени. Окна, забранные решёткой. Дверь – тяжёлая, деревянная, с коваными петлями.

На двери не было таблички.

Алексей посмотрел на неё.

Потом на книгу в руке.

Потом на дверь.

– Это оно, – сказал он тихо.

Он не знал, откуда пришла эта уверенность. Но она была. Как будто кто-то сказал ему на ухо.

Он толкнул дверь.

Дверь открылась.

Внутри было темно.

Алексей вошёл. Дверь закрылась за ним сама – тихо, без скрипа.

Он стоял в темноте. Слышал только своё дыхание. И – где-то далеко – шум города. Приглушённый, как будто из другого мира.

Он достал телефон. Включил фонарик.

Луч выхватил из темноты комнату.

Не склад. Не офис. Комнату. Маленькую. Каменную. С иконой в углу. С свечой на столе. С свитком на столе.

Алексей замер.

Он узнал эту комнату.

Он видел её в книге. В записях Шекспира. В описании тайника.

Он подошёл к столу. Посмотрел на свиток. Обгоревшие края. Чёрная лента. Третий фрагмент.

Он взял его. Развернул.

Текст был на том же языке. Но этот фрагмент был другой. Он был написан от руки. И – он был на английском.

«Тому, кто дошёл. Ты не первый. И не последний. Но ты – тот, кто нужен сейчас. Прочти. Пойми. И реши. Ты не один. Я жду».

Подпись внизу:

«У. Ш.»

Алексей смотрел на свиток долго.

Потом – голос за спиной.

– Вы дочитали до места, где написано, что делать дальше?

Алексей обернулся.

В дверях стоял человек.

Молодой – или казался молодым. Высокий. Худой. В тёмном плаще. С лицом, которое трудно запомнить: правильные черты, светлые глаза, ничего особенного.

Но в этом лице было что-то, от чего Алексей почувствовал холод.

– Кто вы? – спросил он.

Человек не ответил. Он вошёл в комнату. Медленно. Спокойно. Как будто был здесь всегда.

– Вы прочли книгу, – сказал он. – Вы прочли свитки. Вы видели точку на горизонте. Вы знаете, кто я.

Алексей сглотнул.

– Лжедмитрий, – сказал он.

Человек улыбнулся.

– Меня звали по-разному, – сказал он. – Димитрий. Уильям. Наполеон. Но это не имена. Это – маски.

Он подошёл ближе.

– Я – тот, кто не может уйти. Я – тот, кто ждёт. Я – тот, кто должен передать.

– Передать что?

Человек посмотрел на свиток в руках Алексея.

– Устав, – сказал он. – Но не тот, который вы читали. Настоящий.

Он протянул руку.

– Отдайте.

Алексей посмотрел на свиток. Потом на человека. Потом на дверь.

– А если я не отдам?

Человек улыбнулся. Той же странной улыбкой.

– Тогда вы останетесь здесь, – сказал он. – Навсегда.

Алексей почувствовал, как пол под ногами стал тоньше. Как будто он стоял не на камне, а на воде. Как будто мир вокруг стал прозрачным.

Он посмотрел на человека.

– Кто вы? – спросил он снова.

Человек не ответил.

Он просто стоял и смотрел.

И в этот момент Алексей понял: он не стоит. Он висит. Ноги не касаются пола. Он парит – в десяти сантиметрах над камнем.

– Вы… – начал Алексей.

– Да, – сказал человек. – Я умею летать.

Он протянул руку.

– Теперь – ваша очередь.

Алексей посмотрел на руку.

Потом на свиток.

Потом на дверь.

Он не знал, что делать.

Но он знал: назад пути нет.

Он сделал шаг вперёд.

Глава 10

Египет, август 1798 года

Пустыня пахла солью.

Не морем – море осталось позади, в Александрии, – а солью как она есть. Как будто земля здесь была пропитана ею тысячу лет. Как будто здесь когда-то было море, а потом ушло, оставив после себя только соль, песок и жар.

Жар был живой. Он давил на плечи, на голову, на грудь. Он входил в лёгкие вместе с воздухом – сухим, раскалённым, как из печи. Песок хрустел на зубах. Пот оставлял на коже белые разводы.

Наполеон стоял на холме и смотрел на юг.

Внизу – армия. Тридцать тысяч человек. Пехота, кавалерия, артиллерия. Французы, которые шли за ним через море, через Мальту, через Александрию. Они умирали от жажды, от дизентерии, от солнечных ударов. Но они шли.

Потому что он сказал им: там – сокровища.

Он не соврал. Он просто не сказал всей правды.

Сокровища были. Но не золото. Не серебро. Не драгоценности. Текст.

Он искал текст.

Он искал устав.

Он узнал о нём в Париже – от человека, которого звали граф Сен-Жермен. Или – от человека, который называл себя графом Сен-Жерменом. Он не знал точно. Он знал только одно: этот человек умел исчезать. И – он сказал ему: «Орден – в Египте. Найди его. И получишь армию, которая не знает поражений».

Он поверил.

Он был молод. Он был гений. Он был Наполеон. И он верил, что может всё.

Он ошибался.

Он нашёл текст через три недели.

Не в пирамиде. Не в храме. Не в гробнице. В монастыре. Коптском монастыре, затерянном в пустыне, в двух днях пути от Каира. Монастырь был старый – старше арабов, старше римлян, старше Александра. Стены – из глины и камня. Крыша – из пальмовых веток. Внутри – темнота, пыль, запах ладана и старой кожи.

Монахи – их было семеро – не сопротивлялись. Они просто стояли и смотрели, как французы входят в их дом.

Наполеон вошёл первым.

Он прошёл через двор, через трапезную, через церковь. Везде – иконы, книги, свитки. Он не смотрел на них. Он искал другое.

Он нашёл это в дальней комнате.

Комната была маленькая. Каменная. С иконой в углу. С свечой на столе. С свитком на столе.

Он подошёл. Взял свиток. Развернул.

Текст был на смеси греческого, славянского и шифра. Он не понял ни слова.

Но рядом лежал перевод.

Он был сделан кем-то – монахом, учёным, кем-то – на французский. Кривой, неуклюжий, с ошибками. Но – перевод.

Наполеон прочитал его.

И – не понял.

Текст говорил о свете. О молчании. О сердце. О небе. О восхождении. О точках, где мир истончается.

Он искал оружие. Он нашёл богословие.

Он отбросил свиток.

– Это не то, – сказал он.

Он вышел из комнаты. Пошёл к выходу. Монахи смотрели на него. Молча.

Он остановился.

Обернулся.

– Кто из вас умеет летать? – спросил он.

Монахи не ответили.

– Кто из вас знает? – спросил он снова.

Один из них – старый, с бородой до пояса, с глазами, как у пророка, – вышел вперёд.

– Ты ищешь не то, – сказал он на плохом французском. – Ты ищешь армию. Но устав – не армия. Устав – это путь.

– Я не ищу путь, – сказал Наполеон. – Я ищу силу.

– Сила – это путь, – сказал монах. – Если ты не понял этого, ты не найдёшь ни того, ни другого.

Наполеон посмотрел на него.

– Ты умеешь летать?

Монах не ответил.

– Покажи.

Монах посмотрел на него. Долго. Потом сказал:

– Я не могу.

– Почему?

– Потому что я не тот. Я – страж. Я жду.

– Кого?

– Того, кто придёт.

Наполеон нахмурился.

– Кто придёт?

Монах не ответил.

Он просто повернулся и пошёл в церковь.

Наполеон вернулся в Каир.

Он был зол. Не на монахов – на себя. Он ошибся. Он пошёл не туда. Он искал оружие, а нашёл сказку. Он искал армию, а нашёл богословие.

Но он не сдался.

Он был Наполеон. Он не сдавался никогда.

Он собрал учёных. Он приказал им перевести свиток. Полностью. Точно. Без ошибок.

Они работали месяц. Потом два. Потом три.

И – перевели.

Но перевод был другой.

Не тот, который он нашёл в монастыре. Не кривой, не неуклюжий. Точный. Слова были правильные. Смысл – ясный.

И этот смысл был страшным.

Устав говорил не о полёте. Он говорил о точках. О местах, где мир истончается. О людях, которые могут перестать быть здесь. О силе, которая не в оружии, а в присутствии.

Наполеон читал и понимал: это не оружие. Это – нечто большее. Нечто, что нельзя использовать. Нечто, что использует тебя.

Он отложил перевод.

– Это не для меня, – сказал он.

Но он знал: это есть. И – он хотел этого.

Он хотел создать свой орден. Свою армию летающих. Не монахов – солдат. Дисциплина, молчание, верность заменят молитву, заменят благодать, заменят всё.

Он начал.

Он отобрал двенадцать человек. Лучших. Самых верных. Самых сильных. Он учил их молчать. Учил стоять. Учил не быть собой.

Они не летали.

Они не могли.

Потому что левитация требует благодати, а не дисциплины. Требует любви, а не верности. Требует Бога, а не императора.

Он понял это слишком поздно.

Он стоял на балконе в Каире.

Ночь. Жара спала. Город спал. Только где-то вдалеке – собаки, шакалы, стража.

Он смотрел на небо.

Он думал о точке. О двадцатой точке. О том, что она – где-то. Может быть, здесь. Может быть, в Париже. Может быть, в России.

Он думал о уставе. О том, что он не понял его. О том, что он ошибся.

Он думал о монахе – старом, с бородой до пояса. О том, что он сказал: «Сила – это путь».

Он не понял этого.

Но – в этот момент – он почувствовал что-то.

Как будто кто-то смотрел на него.

Он обернулся.

Никого.

Он посмотрел на небо снова.

И – на горизонте – увидел точку.

Маленькую. Тёмную.

Она летела.

Он смотрел на неё долго.

Потом – она исчезла.

Он закрыл глаза.

– Я найду тебя, – сказал он тихо. – Я найду вас всех.

Он открыл глаза.

Небо было пусто.

Бухарест, 1798 год

В комнате пахло воском и пылью.

Человек сидел за столом и читал письмо. Письмо было из Константинополя. От человека, которого он не знал. От человека, который называл себя «брат».

Он читал медленно. Потому что язык был странный – смесь греческого, славянского и чего-то ещё. Он понимал не всё. Но достаточно.

«Французы ищут устав. Они не найдут. Но они разбудят то, что спит. Будь готов».

Человек отложил письмо.

Он был молод – лет тридцати. Худой. С тёмными глазами, которые смотрели слишком внимательно. Он был румын. Или – болгарин. Или – никто. Он сам не знал.

Он знал только одно: он – страж. Как его отец. Как его дед. Как все, кто был до него.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу.

Бухарест спал. Грязь, туман, редкие огни. Где-то лаяла собака. Где-то плакал ребёнок.

Он смотрел на это долго.

Потом вернулся к столу. Взял перо. Написал ответ.

«Я готов. Но я один. Найди мне братьев».

Он отправил письмо с гонцом.

И – стал ждать.

Тегеран, 1798 год

В комнате пахло розовой водой и дымом кальяна.

Старик сидел на ковре и смотрел на огонь. Он был стар – очень стар. Никто не знал, сколько ему лет. Может быть, сто. Может быть, больше.

Он был суфий. Из ордена, который не называл себя орденом. Который не имел устава. Который не строил монастырей.

Он просто знал.

Он знал, что мир истончается. Знал, что есть точки. Знал, что есть люди, которые могут перестать быть здесь. Могут.

Но он знал и другое: их путь – не путь христиан. Их путь – другой. Не свет Фаворский, а свет иной. Не молчание ума, а танец. Не левитация, а вращение. Есть.

Он смотрел на огонь.

И – в этот момент – он почувствовал.

Как будто кто-то смотрел. Как будто кто-то ждал. Как будто точка – здесь. Рядом.

Он закрыл глаза.

– Они идут, – сказал он тихо. – Они всегда идут.

Он открыл глаза.

Огонь дрожал.

Глава 11

Россия, сентябрь 1812 года

Москва горела.

Он не приказал её жечь. Он вообще не хотел этого. Он хотел войти в город, занять Кремль, подписать мир – и вернуться в Париж победителем. Он хотел победы. Он не хотел пепла.

Но пепел был.

Он стоял на кремлёвской стене – той самой, где двести лет назад стоял другой человек, которого тоже звали Дмитрием, – и смотрел на огонь.

Пожар начался ночью. Сначала – с одного дома. Потом – с другого. Потом – со всего города. Москва была деревянной. Москва была сухой. Москва была готова гореть.

Ветер был сильный – северный, с реки. Огонь шёл быстро. Он перекидывался с улицы на улицу, с дома на дом, с квартала на квартал. Небо было красным. Не чёрным – красным. Как будто кто-то поджёг не город, а закат.

Жар шёл от огня волнами. Он чувствовал его даже здесь, на стене. Лицо горело. Глаза слезились. Пахло гарью, смолой, палёным деревом.

Наполеон смотрел на это и молчал.

Рядом стоял Коленкур – генерал, дипломат, единственный человек, которому он доверял. Коленкур тоже смотрел на огонь. Он не говорил, но ждал.

– Это не я, – сказал наконец Наполеон.

– Знаю, – сказал Коленкур.

– Это они.

Коленкур посмотрел на него.

– Кто – они?

Наполеон не ответил.

Он думал о точке. О двадцатой точке. О том, что она – где-то здесь, в Москве, в этом городе, который горел.

Он искал её три недели.

Он пришёл в Москву не за славой. Не за мирным договором. Не за зимними квартирами. Он пришёл за точкой. За местом, где мир истончается. Где можно перестать быть здесь – и стать там.

Он хотел эту силу. Не для себя – для Франции. Для Европы. Для мира, который он хотел построить.

Он не понимал, что мир не строится на силе. Мир строится на благодати. А у него не было благодати. У него была воля.

И воля – не летает.

Он нашёл точку на третий день.

Не в Кремле. Не в соборе. Не в монастыре. В доме. В обычном доме на Арбате. Двухэтажном, каменном, сгоревшем изнутри. Только стены остались. И – подвал.

Он спустился в подвал.

Там было темно. Пахло гарью, сыростью, старой золой. Он зажёг фонарь. Луч выхватил из темноты стены. Каменные, старые, не московские – другие. Как будто их построили не здесь. Или – не сейчас.

Он подошёл ближе.

На стене – надпись. Греческие буквы. Он не понял слов, но узнал их. Это был тот же язык, что в свитке. Тот же шифр.

Он провёл рукой по стене. Камень был тёплый. Хотя пожар давно кончился. Хотя вокруг было холодно. Камень был тёплый – как кожа.

Он закрыл глаза.

И – почувствовал.

Как будто кто-то тянул его. Вперёд. Вверх. Туда.

Он открыл глаза.

Перед ним – точка. Маленькая. Тёмная. Висела в воздухе. В метре от пола. В полуметре от его лица.

Он смотрел на неё.

Она смотрела на него.

Он протянул руку.

– Если я коснусь – я уйду, – сказал он тихо.

Он не знал, откуда пришла эта уверенность. Но она была. Как будто кто-то сказал ему на ухо. Как будто сама точка сказала.

Он стоял и смотрел.

Он думал о Франции. О Европе. О мире, который он хотел построить. О солдатах, которые умирали за него. О Жозефине, которая его не любила. О сыне, которого у него скоро не станет.

Он думал о себе.

Он хотел силу. Он хотел власть. Он хотел бессмертие. Но он не хотел уйти. Уйти – значит оставить всё. Уйти – значит перестать быть императором. Уйти – значит стать никем.

Он не мог.

Он опустил руку.

– Я не могу, – сказал он.

Точка не исчезла. Она ждала.

– Я не могу, – повторил он.

Точка качнулась. Как будто кивнула. Как будто поняла.

И – исчезла.

Он остался один. В подвале. С фонарём. С гарью. С пустотой.

Он вышел на улицу.

Москва догорала.

Он вернулся в Кремль.

Он не спал. Он сидел в зале, в кресле, и смотрел на огонь в камине. Камин был маленький. Огонь – слабый. Но он смотрел на него, как будто видел что-то.

Вошёл Коленкур.

– Ваше величество, – сказал он. – Мы должны уходить. Зима близко. Армия не выдержит.

Наполеон не ответил.

– Ваше величество…

– Я знаю, – сказал Наполеон.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на город. На пепел. На пустоту.

– Я ошибся, – сказал он.

Коленкур молчал.

– Я думал, что устав – это оружие. Я думал, что могу создать свой орден. Я думал, что сила – это всё.

Он обернулся.

– Но сила – не всё. Есть что-то другое. Что-то, чего у меня нет.

– Что?

Наполеон не ответил.

Он подошёл к столу. Взял свиток – тот самый, который он нашёл в Египте. Он возил его с собой, всегда, как талисман, напоминание.

Он посмотрел на него.

– Я не понял, – сказал он. – Я прочитал, но не понял.

Он положил свиток на стол.

– Пусть найдёт тот, кто поймёт.

Он вышел из зала.

Он ушёл из Москвы через неделю.

Армия умирала. Солдаты падали на землю от холода, от голода, от болезней. Лошади дохли. Обозы стояли здесь и там. Казаки нападали на отставших.

Он шёл впереди. Молча. Не оглядываясь.

Он думал о точке. О том, что она ждала. О том, что он не смог.

Он думал о монахе – старом, с бородой до пояса. О том, что он сказал: «Сила – это путь».

Он не понял этого.

Но – теперь – он знал: это правда.

Он остановился. Посмотрел на небо.

Снег. Холод. Пустота.

На горизонте – точка. Маленькая. Тёмная. Летела.

Он смотрел на неё долго.

– Я найду вас, – сказал он тихо. – В следующей жизни. Или – в точке.

Он пошёл дальше.

Глава 12

Лондон, наши дни

Алексей не отдал свиток.

Он стоял в комнате – маленькой, каменной, с иконой в углу и свечой на столе – и смотрел на человека в плаще. Тот парил в воздухе. В десяти сантиметрах над полом. И ждал.

Алексей не двигался.

Он думал.

Не о том, что делать. Не о том, как спастись. Не о том, кто этот человек. Он думал о тексте.

Он думал о том, что прочитал за эти дни. О первом свитке – карте точек. О втором – списке имён. О третьем – приглашении. О книге Шекспира – с инструкциями на полях. О Наполеоне – который не понял. О Лжедмитрии – который ушёл. О Шекспире – который остался.

И – он думал о себе.

Он не был ни тем, ни другим. Он не был императором. Он не был драматургом. Он не был монахом. Он был филологом. Человеком, который читает. Человеком, который понимает.

И – он понял.

– Вы хотите, чтобы я отдал свиток, – сказал он.

– Да, – сказал человек.

– Почему?

– Потому что вы не готовы.

Алексей посмотрел на него.

– А вы готовы?

Человек не ответил.

– Вы умеете летать, – сказал Алексей. – Вы ушли. Вы не вернулись. Вы ждёте. Но вы не поняли.

Человек нахмурился.

– Что не понял?

– Того, что устав – не инструкция. Это приглашение. Вы сказали это сами. Но вы не поняли, что это значит.

– И что это значит?

Алексей сделал шаг вперёд.

– Это значит, что устав не передаётся. Его нельзя отдать. Его можно только прочитать и понять.

Он посмотрел на свиток в своей руке.

– Если я отдам его вам – я не пойму. Если я оставлю его себе – я пойму.

– И что тогда?

– Тогда – шагну.

Человек смотрел на него долго.

Потом – улыбнулся.

– Вы уверены?

– Нет, – сказал Алексей. – Но я хочу попробовать.

Человек опустился на пол.

– Хорошо, – сказал он. – Тогда – читайте.

Он исчез.

Не ушёл. Не растворился. Исчез. Как будто его никогда не было.

Алексей остался один.

Он стоял в комнате. С свечой. С иконой. С свитком в руке.

Он посмотрел на свиток.

Потом – на свечу.

Потом – на икону.

– Хорошо, – сказал он. – Читаем.

Он сел на стул.

Развернул свиток.

Текст был на английском. Но не тот, который он читал раньше. Не приглашение. Устав. Настоящий.

Он начал читать.

«Ты не читаешь. Ты вспоминаешь».

Он читал.

«Ты не учишься. Ты знаешь».

Он читал.

«Ты не летаешь. Ты перестаёшь быть здесь».

Он читал.

И – вспоминал.

Не слова. Не мысли. Ощущения. Как будто что-то просыпалось. Где-то глубоко. Внутри. В том месте, которое он не мог назвать. В том месте, которое всегда было.

Он читал.

«Первое: молчание. Не молчание уст. Молчание ума».

Он замолчал.

Не вслух – внутри. Мысли остановились. Не исчезли – замерли. Как вода в пруду, когда ветер стихает.

«Второе: свет. Не свет солнца. Свет, который внутри».

Он увидел.

Не глазами – сердцем. Свет. Тёплый. Тихий. Как будто кто-то зажёг свечу в его груди.

«Третье: любовь. Не любовь к кому-то. Любовь ко всему».

Он почувствовал.

Не к кому-то – ко всему. К камню. К свече. К иконе. К человеку, который исчез. К Шекспиру. К Лжедмитрию. К Наполеону. К себе.

«Четвёртое: отпустить».

Он отпустил.

Не себя – всё. Страх. Сомнение. Желание. Память. Имя. Тело.

Он перестал быть здесь.

Он не помнил, как встал.

Не помнил, как подошёл к окну. Не помнил, как открыл его. Не помнил, как шагнул.

Он помнил только ощущение.

Как будто он не падал. Как будто он не летел. Как будто он просто был. Везде и нигде.

Он открыл глаза.

Он стоял над Лондоном.

Не на крыше. Не на балконе. В воздухе. В ста метрах над городом. Над Темзой. Над «Глобусом» – новым, туристическим, освещённым. Над огнями. Над людьми. Над миром.

Он смотрел вниз.

Люди шли по улицам. Машины ехали по мостам. Самолёты летели в небе – выше него. Спутники – ещё выше.

Он смотрел на это.

И – улыбнулся.

– Я не один, – сказал он тихо.

Он посмотрел на горизонт.

Там – точка. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он смотрел на неё долго.

Потом – шагнул.

И – оказался рядом.

Точка была не точкой. Она была человеком. Молодым. Худым. В тёмном плаще. С лицом, которое трудно запомнить. С глазами, которые видели всё.

– Вы смогли, – сказал человек.

– Да, – сказал Алексей.

– Почему?

Алексей посмотрел на него.

– Потому что я не хотел летать, – сказал он. – Я хотел понять.

Человек улыбнулся.

– Тогда – добро пожаловать.

Он протянул руку.

– Теперь – ваша очередь.

Алексей посмотрел на руку.

Потом – на Лондон внизу.

Потом – на небо.

– Куда? – спросил он.

– Туда, – сказал человек. – Где мы нужны.

Алексей взял его за руку.

И – они исчезли.

Внизу, на набережной, туристы фотографировали «Глобус».

Никто не смотрел вверх.

Никто не видел точку.

Никто не знал, что два человека только что перестали быть здесь.

И – стали там.

Глава 13

Остров Святой Елены, 5 мая 1821 года

Океан был серый.

Не синий, не зелёный, не бирюзовый – серый. Как олово. Как старое зеркало. Как небо, которое забыло, что когда-то было голубым.

Наполеон стоял у окна и смотрел на него.

Он стоял уже час. Или два. Он не считал. Время здесь не шло – оно тянулось. Как смола. Как болезнь. Как жизнь, которая уже кончилась, но ещё не призналась в этом.

За окном – скалы. Чёрные, острые, как зубы. За скалами – океан. За океаном – ничего. Только вода. Только небо. Только пустота.

Он ненавидел этот остров.

Не потому, что здесь было плохо. А потому, что здесь было ничего. Ни славы. Ни битвы. Ни врагов. Только тишина. И – воспоминания.

Он думал о Москве.

Он думал о подвале на Арбате. О точке. О том, как он стоял перед ней – рука протянута, сердце колотится, – и не смог.

Он думал об этом каждый день.

Не потому, что жалел. А потому, что не понимал. Почему он не смог? Что его остановило? Страх? Гордость? Или – что-то другое?

Он не знал.

И это было хуже всего.

В дверь постучали.

– Войдите, – сказал он.

Вошёл Маршан – слуга, который был с ним с Египта. Верный. Молчаливый. Единственный, кто остался.

– Ваше величество, – сказал он. – Доктор Антоммарки просит вас принять лекарство.

– Скажи доктору, что я уже сам стал как лекарство.

Маршан не улыбнулся. Он давно не улыбался.

– Ваше величество…

– Оставь меня.

Маршан вышел.

Наполеон остался один.

Он снова посмотрел на океан.

Он думал о точке. О том, что она ждала. О том, что она всё ещё ждёт. Где-то. Может быть, здесь. Может быть, в Москве. Может быть, в нём.

Он закрыл глаза.

И – почувствовал.

Как будто кто-то смотрел. Как будто кто-то ждал. Как будто точка – здесь. Рядом. В комнате.

Он открыл глаза.

Перед ним – точка. Маленькая. Тёмная. Висела в воздухе. В метре от лица.

Он смотрел на неё.

Она смотрела на него.

Он не протянул руку.

Он просто стоял. И смотрел.

– Ты вернулась, – сказал он тихо.

Точка качнулась. Как будто кивнула.

– Ты ждала меня двадцать лет.

Точка не исчезла.

– Ты ждала всю жизнь.

Точка ждала.

Он посмотрел на неё долго.

Потом – улыбнулся.

Не той улыбкой, которой он улыбался солдатам. Не той, которой он улыбался Жозефине. Не той, которой он улыбался миру. Это была другая улыбка. Тихая. Грустная. Настоящая.

– Я не хотел, – сказал он. – Тогда. В Москве. Я не хотел уходить.

Точка слушала.

– Я думал, что сила – это всё. Я думал, что власть – это всё. Я думал, что я – это всё.

Он замолчал.

– Я ошибался.

Точка не двигалась.

– Я хотел силу. Но сила – это путь. Я не понял. Я не хотел понять.

Он посмотрел на свои руки. Старые. Похудевшие. Немощные.

– Я хотел создать свой орден. Свою армию. Свою точку.

Он снова посмотрел на точку.

– Но точка – не создаётся. Точка – это место. Где ты перестаёшь быть здесь. Где ты становишься там.

Он сделал шаг вперёд.

– Я готов, – сказал он.

Точка замерла.

– Я готов уйти.

Точка не исчезла.

– Я готов перестать быть императором. Перестать быть Наполеоном. Перестать быть собой.

Он закрыл глаза.

– Я готов стать никем.

Тишина.

Он открыл глаза.

Точка была рядом.

Он протянул руку.

И – коснулся.

Мир исчез.

Не потемнел. Не померк. Исчез. Как будто кто-то выключил его, как будто кто-то задул свечу.

Он не чувствовал тела. Не чувствовал рук. Не чувствовал ног. Не чувствовал себя.

Было только свет. Не яркий – тихий. Как будто кто-то держал его. Как будто кто-то знал его.

Он не боялся.

Он не думал.

Он был.

Он открыл глаза.

Он стоял над островом.

Не на скале. Не на берегу. В воздухе. В ста метрах над Святой Еленой. Над океаном. Над миром.

Он смотрел вниз.

Остров был маленький. Крошечный. Как точка. Как капля в океане. Как жизнь в вечности.

Он смотрел на него.

И – улыбнулся.

– Я смог, – сказал он тихо.

Он посмотрел на горизонт.

Там – точка. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он смотрел на неё.

Потом – шагнул.

И – оказался рядом.

Точка была не точкой. Она была человеком. Молодым. Худым. В тёмном плаще. С лицом, которое трудно запомнить. С глазами, которые видели всё.

– Вы смогли, – сказал человек.

– Да, – сказал Наполеон.

– Почему?

Наполеон посмотрел на него.

– Потому что я перестал хотеть, – сказал он. – Я перестал быть императором. Я стал никем.

Человек улыбнулся.

– Тогда – добро пожаловать.

Он протянул руку.

– Теперь – ваша очередь.

Наполеон посмотрел на руку.

Потом – на остров внизу.

Потом – на небо.

– Куда? – спросил он.

– Туда, – сказал человек. – Где мы нужны.

Наполеон взял его за руку.

И – они исчезли.

Внизу, на острове, Маршан вошёл в комнату.

Он увидел пустую постель. Открытое окно. Тишину.

Он подошёл к окну. Посмотрел вниз. Никого.

Он посмотрел на океан. На скалы. На пустоту.

Он перекрестился.

– Он ушёл, – сказал он тихо. – Он наконец ушёл.

Он закрыл окно.

И – заплакал.

Бухарест, 1821 год

Человек сидел за столом и читал письмо.

Письмо было из России. От человека, которого он не знал. От человека, который называл себя «брат».

«Наполеон ушёл. Точка закрыта. Но двадцатая – открыта. Готовься».

Человек отложил письмо.

Он был стар – лет пятьдесят. Седой. С усталыми глазами. Он был румын. Или – болгарин. Или – никто.

Он знал только одно: он – страж. Как его отец. Как его дед. Как все, кто был до него.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу.

Бухарест спал. Грязь, сумрак, редкие огни.

Он смотрел на это долго.

Потом вернулся к столу. Взял перо. Написал ответ.

«Я готов. Но я один. Найди мне братьев. Двадцатая – не здесь. Двадцатая – на Балканах. Будь готов».

Он отправил письмо. С гонцом.

И – стал ждать.

Тегеран, 1821 год

В комнате пахло розовой водой и дымом кальяна.

Старик сидел на ковре и смотрел на огонь. Он был стар – очень стар. Никто не знал, сколько ему лет.

Он был суфий. Из ордена, который по-прежнему не называл себя орденом.

Он знал, что мир истончается. Знал, что есть точки. Знал, что есть люди, которые могут перестать быть здесь.

Но он знал и другое: их путь – не путь христиан. Их путь – другой. Не свет Фаворский, а свет иной. Не молчание ума, а танец. Не левитация, а вращение. Танец ума.

Он смотрел на огонь.

И – в этот момент – он почувствовал.

Как будто кто-то смотрел. Как будто кто-то ждал. Как будто точка – здесь. Рядом.

Он закрыл глаза.

– Они идут, – сказал он тихо. – Они всегда идут.

Он открыл глаза.

Огонь дрожал.

Глава 14

Афон, 1913 год

Монах стоял на пристани и смотрел, как уходит русский пароход.

Он не махал рукой. Не крестил вслед. Не плакал. Он просто стоял – высокий, худой, с бородой, которую не стриг уже десять лет, – и смотрел, как чёрная труба исчезает за горизонтом.

На пристани было пусто. Только чайки. Только сеть, брошенная кем-то. Только тишина.

Ветер разносил соль – она оседала на губах, на языке, на веках. Горькая. Металлическая. Как кровь.

Он знал этот пароход. Он знал людей на нём. Он знал, что они не вернутся. Не потому, что не хотели – потому что не могли. Афон перешел под греческую юрисдикцию. Русским монахам – а их было больше половины – всё настойчивее предлагали выбор: принять греческое подданство или уехать.

Многие уехали. Их увез русский пароход.

Он остался.

Не потому, что любил греков. Не потому, что не любил русских. А потому, что здесь была точка. Одна из девятнадцати. И он не мог её оставить.

Он сел на камень. Посмотрел на море.

– Ты снова один, – сказал голос за спиной.

Монах не обернулся. Он знал этот голос. Знал его слишком хорошо.

– Я не один, – сказал он. – Я здесь.

– Здесь – это не «с кем-то».

– Здесь – это точка.

Второй монах подошёл. Сел рядом. Он был моложе – лет сорока, с лицом, которое помнило улыбку, но давно её забыло.

– Русские ушли, – сказал он. – Сербы уйдут. Болгары уйдут. Останутся греки. И – мы.

– Мы не русские, – сказал первый. – Мы не греки. Мы – орден.

– Орден – это слово. Слово – это ничто.

Первый посмотрел на него.

– Ты знаешь, что это не так.

Второй молчал.

Они сидели долго. Море было серое. Небо – тоже. Чайки кричали. Где-то внизу, в монастыре, звонили к вечерне. Звон шёл по воде – слабый, искажённый, как крик утопающего.

– Что будет? – спросил второй.

– Будет война, – сказал первый.

– Какая?

– Большая. Больше, чем все, что были. Больше, чем Наполеон. Больше, чем Крым.

Второй посмотрел на него.

– Ты видел?

– Да.

– Когда?

– Сегодня утром. Когда читал устав.

Он замолчал. Потом сказал:

– В уставе есть двадцатая точка. Она ещё не открыта. Но она близко.

– Где?

Первый посмотрел на запад.

– Балканы, – сказал он. – Сербия. Босния. Место, где никто не ждёт.

Второй нахмурился.

– Балканы – это порох. Все это знают.

– Да, – сказал первый. – Но спичку никто не ждёт.

Они снова замолчали.

Потом второй сказал:

– Мы должны вмешаться.

– Нет.

– Но если будет война…

– Если будет война – мы не сможем её остановить. Мы не можем останавливать войны. Мы можем только сдвигать их.

– Куда?

Первый не ответил.

Он смотрел на запад. Туда, где за морем, за горами, за миром – лежали Балканы. Туда, где через год – он знал это – грянет.

– Мы должны найти двадцатую точку, – сказал он наконец. – До того, как её найдёт кто-то другой.

– Кто?

– Тот, кто хочет войны.

Он встал.

– Пойдём. Нужно писать.

– Кому?

– Тем, кто умеет читать.

Они пошли в монастырь.

София, 1913 год

В комнате пахло табаком и старой бумагой.

Человек сидел за столом и читал письмо. Письмо было с Афона. От человека, которого он не знал. От человека, который называл себя «брат».

«Двадцатая точка – на Балканах. Война будет. Готовься».

Человек отложил письмо.

Он был молод – лет тридцати. Худой. С тёмными глазами, которые смотрели слишком внимательно. Он был болгарин. Или – румын. Или – никто. Он сам не знал.

Он знал только одно: он – страж. Как его отец; как его дед; как все, кто был до него.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу.

София была погружена в сон. Вонь, туман, редкие огни.

Он смотрел на это долго.

Потом вернулся к столу. Взял перо. Написал ответ.

«Я готов. Но я один. Найди мне братьев. Двадцатая – не здесь. Двадцатая – в Сараево. Будь готов».

Он отправил письмо, с гонцом.

И – стал ждать.

Лондон, наши дни

Алексей дочитал до этого места и остановился.

Он сидел в комнате – той самой, маленькой, каменной, с иконой и свечой. Свиток лежал перед ним. Он читал уже три часа. И – вспоминал.

Он вспомнил Афон. 1913 год. Он не был там. Но – он помнил. Как будто жил. Как будто всегда знал.

Он посмотрел на свиток.

Внизу – приписка. Другим почерком. Более поздним.

«Двадцатая точка – не место. Двадцатая точка – событие. Найди его. И – не дай ему случиться. Или – дай. Ты поймёшь».

Алексей отложил свиток.

Он встал. Подошёл к окну.

Лондон спал. Огни отражались в Темзе. Где-то – «Глобус». Где-то – люди. Где-то – точка.

Он посмотрел на горизонт.

Точка была. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он смотрел на неё долго.

– Балканы, – сказал он тихо. – 1914.

Он закрыл глаза.

И – вспомнил.

Глава 15

Ялта, 1898 год

Чехов сидел на террасе и смотрел на море.

Оно было серое. Не синее, не бирюзовое – серое. Как олово. Как старое зеркало. Как небо, которое забыло, что когда-то было голубым.

Он смотрел на него уже час.

Он не думал ни о чём. Он отдыхал. Не от работы – от себя. От кашля. От бессонницы. От мыслей, которые не хотели уходить.

За спиной – дом. Белый, с колоннами, с садом. Дом, который он построил на деньги от пьес. Дом, в котором он должен был быть счастлив.

Он не был счастлив.

Он был болен.

Он знал это. Все знали. Доктор Чехов – он сам себе доктор – знал лучше всех. Туберкулёз. Лёгкие. Медленно. Неизбежно.

Он не боялся смерти. Он боялся не успеть.

Не успеть написать. Не успеть сказать. Не успеть понять.

Он смотрел на море и думал о полёте.

Не о птицах. Не о самолётах – они ещё не полетели. О полёте как о состоянии. Как о том, что невозможно. Как о том, что хочется. Он думал о пьесе, написанной два года назад.

Он думал о Треплеве.

Молодой человек. Хочет нового театра. Хочет новых форм. Хочет летать. Но – не может. Потому что не умеет. Потому что не готов. Потому что мир не готов.

Он думал о Нине.

Чайка. Девушка, которая хотела летать. Которая улетела. И – разбилась. Не насмерть – внутри. Она вернулась. Но не той.

Он думал о себе.

Он тоже хотел летать. Он тоже улетал – в Москву, в Петербург, за границу, в слова. Но – возвращался. Всегда. Потому что не мог остаться.

Потому что не умел.

В имении Мелихово два года назад он взял перо.

И – написал.

«Чайка». Пьеса в четырёх действиях.

Он не знал, что это будет. Он не знал, что это останется. Он просто писал – и в этих словах было всё. И полёт, и падение, и страх, и надежда.

Он писал о полёте, которого не будет.

Прошло два года.

В дверь постучали.

– Войдите, – сказал он.

Вошла сестра – Маша. Или – Мария Павловна. Она всегда была рядом. Всегда заботилась. Всегда знала.

– Антон, – сказала она. – Ты опять не спал.

– Спал, – сказал он.

– Неправда.

Она подошла. Села рядом. Посмотрела на море.

– Ты видел? – спросила она.

– Что?

– Точку.

Он посмотрел на неё.

– Какую точку?

– На горизонте. Маленькую. Тёмную.

Он посмотрел на море.

Там – точка. Маленькая. Тёмная. Висела в воздухе.

Он смотрел на неё.

Она смотрела на него.

– Ты видишь? – спросила Маша.

– Да, – сказал он.

– Что это?

Он долго молчал.

Потом сказал:

– Это полёт.

– Чей?

– Мой.

Она посмотрела на него.

– Ты умеешь летать?

– Нет, – сказал он. – Но я могу написать о полёте.

– Это одно и то же?

Он посмотрел на неё.

– Нет, – сказал он. – Но это всё, что у меня есть.

Она встала. Пошла к двери. Обернулась.

– Антон.

– Да?

– Ты должен закончить пьесу.

– Я знаю.

Она вышла.

Он остался один.

Он снова посмотрел на точку.

Она была там. Ждала.

Мелихово.

Он взял перо.

И – продолжил писать.

Пьеса не шла.

Он писал сцену за сценой. Диалог за диалогом. Но что-то не складывалось. Как будто слова были правильные, а смысл – не тот.

Он перечитывал. Правил. Рвал. Писал снова.

Он дошёл до финала.

Треплев убивает себя. Нина уходит. Доктор Дорн говорит: «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился».

Он смотрел на эти слова долго.

– Нет, – сказал он.

Он знал: это неправильно. Не этически – физически. Треплев не должен умирать. Он должен летать.

Он зачеркнул.

Написал снова.

«Треплев не застрелился. Он исчез. Никто не знает, куда. Он улетел».

Он посмотрел на написанное.

– Нет, – сказал он снова. – Это не пьеса. Это – другое.

Он отложил перо.

Он посмотрел на море.

Точка была там.

Он смотрел на неё долго.

Потом – встал.

Подошёл к краю террасы. Посмотрел вниз. Обрыв. Море. Пустота.

Он закрыл глаза.

– Я не умею летать, – сказал он тихо. – Но я могу написать о полёте. И этого достаточно.

Он открыл глаза.

Точка исчезла.

Он вернулся к столу. Сел. Взял перо.

И – написал «Чайку» так, как нужно.

С Треплевым, который не умирает. С Ниной, которая улетает. С полётом, которого не будет.

И – с точкой, которую никто не видит.

Лондон, наши дни

Алексей дочитал до этого места и остановился.

Он сидел в комнате. Свиток лежал перед ним. Он читал уже четыре часа.

Он вспомнил Чехова.

Не как писателя. Как человека. Который видел точку. Который знал – но не мог. Который написал – и этого было достаточно.

Он посмотрел на свиток.

Внизу – приписка. Другим почерком.

«Он не умел летать. Но он видел. И – записал. И тот, кто прочтёт, – вспомнит».

Алексей отложил свиток.

Он встал. Подошёл к окну.

Лондон спал. Огни отражались в Темзе. Где-то – «Глобус». Где-то – люди. Где-то – точка.

Он посмотрел на горизонт.

Точка была. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он смотрел на неё долго.

– Чехов видел, – сказал он тихо. – Но не умел.

Он закрыл глаза.

– А я умею.

Он открыл глаза.

Точка приблизилась.

– Сараево, – сказал он. – 1914.

Он взял свиток.

И – шагнул.

Глава 16

Сараево, 28 июня 1914 года

Алексей не знал, как он оказался здесь.

Он шагнул из Лондона – из комнаты с иконой и свечой – и вышел не туда, куда думал. Не в точку. Не в Сараево. А – над ним. В воздухе, в двухстах метрах над городом.

Он не падал. Он висел.

Но это было не то состояние, что раньше. Раньше он переставал быть здесь. Теперь он был здесь. Весь. Целиком. Тело. Руки. Ноги. Сердце, которое колотилось так, что он слышал его в ушах.

Он чувствовал всё.

Ветер. Он бил в лицо, в грудь, в глаза. Он был холодный – не летний, не балканский. Как будто он летел не над Сараево, а над океаном.

Холод. Он шёл откуда-то изнутри. Как будто кости стали льдом.

Страх. Настоящий. Не тот, что в комнате. Не тот, что перед свитком. Животный. Тот, что кричит: вниз. Тот, что хочет земли.

Он посмотрел вниз.

Сараево лежало под ним.

Маленький город. Австро-венгерский. С черепичными крышами, с минаретами, с церквями, с мостом через Миляцку. Солнце уже поднялось. Улицы были полны людей. Кортеж приближался.

Он видел всё.

Как будто у него было два зрения. Одно – обычное. Другое – иное. Он видел слои. Видел линии. Видел точки. Одна – яркая, красная, как уголёк, – пульсировала у моста. Другая – тёмная, маленькая, – висела над ней.

Он знал, что это.

Первая – событие. Выстрел. Вторая – точка истончения. Двадцатая.

Он смотрел на них.

И – почувствовал, как его тянет. Вниз, к мосту, к точке.

Он не хотел. Но тело хотело. Кости хотели. Кровь хотела.

Он отпустил себя.

И – полетел.

Полёт оказался не таким, каким он думал.

Не свобода. Не свет. Не «переставание быть здесь».

Это была борьба.

Воздух сопротивлялся. Он был плотный. Как вода. Как смола. Как стекло. Каждый метр давался усилием. Каждое движение – болью.

Он не падал – но и не летел. Он боролся с воздухом. С собой. С миром, который не хотел его пускать.

Ветер бил в лицо. Глаза слезились. Он ничего не видел. Только белое. Только серое. Только красное – точку внизу, которая пульсировала.

Он стал терять высоту.

Не специально. Просто не удержал. Он провалился на пятьдесят метров; потом ещё на двадцать. Потом – замер. В метре над крышей, над черепицей, над трубой, дымившейся.

Он схватился за трубу.

Руки дрожали. Пальцы не слушались. Он держался – как держатся за жизнь.

Он посмотрел вниз.

Улица. Люди. Кортеж. Машины. Франц Фердинанд. София. Свита.

И – тот. Молодой. Худой. Бледный. У моста. С пистолетом.

Гаврило Принцип.

Алексей видел его. Чувствовал его. Как будто они были связаны. Как будто точка связывала их.

Он знал: выстрел будет через минуту. Может, меньше.

Он должен был вмешаться.

Или – не должен.

Он не знал.

Он отпустил трубу.

И – полетел снова.

Вниз. Быстро. Слишком быстро. Ветер ревел в ушах. Кровь била в висках. Он не контролировал полёт. Он падал – но не на землю. Сквозь воздух, сквозь время, сквозь себя.

Он ударился о крышу.

Не о черепицу – о что-то другое. О слой. Будто бы мир был слоёным. Как будто между «здесь» и «там» была плёнка. И он прорвал её.

Он упал на мостовую.

Не на улицу – в переулок. В двух кварталах от моста. В тени. В грязи.

Он лежал на камнях. Не мог дышать. Не мог двигаться. Не мог думать.

Кровь. На руках. На лице. Не его – своя. Из носа. Из губы. Из чего-то внутри.

Он слышал шаги.

Люди бежали. Кричали. Не по-русски. Не по-английски. По-сербски. По-немецки.

Он поднялся.

Не сразу. Сначала – на колени. Потом – на ноги. Потом – пошёл.

Он не знал, куда идёт. Но ноги знали. Они несли его. К мосту, к точке, к выстрелу.

Он вышел из переулка.

Улица была полна. Люди. Кони. Машины. Крики. Солнце.

Он увидел Принципа.

Тот стоял у моста. Пистолет в руке. Рука дрожала. Глаза – пустые. Лицо – белое.

Кортеж приближался.

Алексей побежал.

Не полетел – побежал. Ногами. По камням, по мостовой. По миру, который не хотел его пускать.

Он кричал.

– Стой!

Принцип не слышал.

– Стой!

Он не слышал.

Алексей бежал.

Он видел точку. Она пульсировала. Ярче. Ближе.

Он видел машину. Франц Фердинанд. София. Свита.

Он видел пистолет. Руку. Палец.

Он бросился.

Он ударил Принципа.

Не сильно – всем телом. Плечом. В бок.

Принцип упал. Пистолет выпал. Выстрел – не случился.

Толпа замерла.

Алексей стоял над Принципом. Тяжело дышал. Кровь текла по лицу. Руки дрожали.

Он смотрел на Принципа.

Тот смотрел на него.

– Кто ты? – спросил Принцип. По-сербски. Алексей понял.

– Я – никто, – сказал он.

Принцип не понял.

Алексей наклонился. Поднял пистолет. Сунул его в карман.

– Ты не должен этого делать, – сказал он.

– Кто ты? – повторил Принцип.

– Я – тот, кто видел.

Он выпрямился.

Кортеж проехал мимо. Франц Фердинанд смотрел вперёд. Он не знал. Он не видел. Он не понял.

Алексей смотрел ему вслед.

Потом – на точку.

Она была там. Пульсировала. Ярче. Ближе.

Он понял: выстрел не отменён. Он отложен. Точка не закрыта. Она ждёт.

– Нет, – сказал он.

Он закрыл глаза.

И – шагнул.

Он вернулся в Лондон.

Не в комнату – в воздух. Над «Глобусом». Над Темзой. Над миром.

Он висел.

Он дышал.

Он смотрел на руки.

Кровь! Своя! Пистолет! Чужой!

Он не знал, что делать.

Точка была рядом. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он смотрел на неё.

– Я не смог, – сказал он.

Точка не исчезла.

– Я не смог остановить.

Точка слушала.

– Я только отложил.

Точка качнулась.

– Что теперь?

Точка не ответила.

Она исчезла.

Алексей остался один.

Он висел над Лондоном. С пистолетом в кармане. С кровью на лице. С точкой, которая не закрыта.

Он закрыл глаза.

– Я должен вернуться, – сказал он.

Он открыл глаза.

И – полетел вниз.

Глава 17

Июль 1914 года

Алексей не спал три дня.

Он не мог. Каждый раз, когда он закрывал глаза, он видел точку. Она пульсировала. Ярче. Ближе. Как будто дышала. Как будто ждала.

Он вернулся в Лондон – в комнату с иконой и свечой – и рухнул на стул. Пистолет Принципа лежал на столе. Тяжёлый, чёрный, настоящий.

Он смотрел на него.

Потом – на свиток.

Потом – на карту.

Карта была не географическая. Это была карта точек. Девятнадцать – известных. Двадцатая – Сараево. Но Сараево не было на карте. Оно двигалось. Как будто точка искала место.

Он понял: выстрел не отменён. Он отложен. И – он случится снова. В другом месте. В другое время. Кто-то другой нажмёт на курок.

Он должен был найти точку. Раньше, чем она сработает.

Он встал, подошёл к окну, растворил окно.

Лондон спал.

Он шагнул.

Полёт был другой.

Не борьба – гонка. Не сопротивление – скорость. Воздух не мешал. Он расступался. Как будто знал: Алексей спешит.

Он летел над Ла-Маншем.

Внизу – волны. Серые. Холодные. Бесконечные.

Он не смотрел вниз. Он смотрел вперёд.

Он искал точку.

Она была где-то там. Впереди, ближе, ярче.

Он чувствовал её. Как боль в груди. Как зуд в пальцах. Как голод.

Он летел быстрее.

Ветер бил в лицо. Глаза слезились. Он ничего не видел. Только серое. Только белое. Только красное – точка, которая пульсировала впереди.

Он пробил облака.

Под ним – Европа.

Германия. Рейн. Дороги. Города. Люди.

Он видел их. Всех. Сразу. Как будто зрение стало другим. Он видел не только то, что было. Он видел то, что будет.

Он видел поезда. Мобилизацию. Солдат. Кровь.

Он видел точку.

Она была в Берлине.

Он приземлился на крышу.

Не мягко – жёстко. Ноги ударились о черепицу. Колени подкосились. Он упал. Покатился. Схватился за трубу.

Кровь. Опять. Из носа. Из губы. Своя.

Он поднялся.

Берлин спал. Ночь. Тишина. Только где-то – шаги. Только где-то – голоса.

Он посмотрел вниз.

Улица! Дом! Особняк! Окна горят!

Он знал этот дом. Он видел его в свитке. Это был дом человека, который не хотел войны. Но который сделает её неизбежной.

Вильгельм II. Кайзер.

Алексей спустился с крыши.

Не полетел – спустился. По стене. Как паук. Как тень. Как никто.

Он подошёл к окну.

Внутри – люди. Дипломаты. Военные. Кайзер.

Они говорили. Кричали. Спорили.

Он слышал их.

– Сербия должна быть наказана!

– Россия не отступит!

– Мы не можем отступать!

– Если мы не ударим первыми – они ударят!

Алексей смотрел на них.

Он видел точку.

Она была здесь. В комнате. Над столом. Между ними.

Она пульсировала. Ярче. Ближе.

Он понял: она не в Сараево. Она здесь. В этом разговоре. В этих словах. В этом решении.

Он должен был остановить их.

Он открыл окно.

Он вошёл в комнату.

Не через дверь – через окно. Тихо. Быстро. Незаметно.

Никто не увидел его. Никто не услышал.

Он стоял у стены. Смотрел.

Кайзер говорил:

– Мы должны поддержать Австрию. Если мы не поддержим – мы потеряем всё.

Генерал кивал.

Дипломат молчал.

Алексей шагнул вперёд.

– Нет, – сказал он.

Все обернулись.

Кайзер посмотрел на него.

– Кто вы?

– Я – никто, – сказал Алексей. – Но я видел то, что будет.

– Что будет?

– Война. Большая. Долгая. Кровавая. Вы проиграете.

Тишина.

Потом кайзер рассмеялся.

– Вы сумасшедший.

– Да, – сказал Алексей. – Но я прав.

Он посмотрел на точку.

Она пульсировала. Ярче. Ближе.

– Если вы сделаете это – миллионы умрут. Империи рухнут. Мир изменится навсегда.

Кайзер перестал смеяться.

– Кто вы такой?

– Я – тот, кто просит вас остановиться.

Кайзер посмотрел на него. Долго.

Потом – позвал охрану.

– Уведите его.

Алексей не сопротивлялся.

Он смотрел на точку.

Она пульсировала. Ярче. Ближе.

Он закрыл глаза.

И – шагнул.

Он оказался в Вене.

На крыше. Над дворцом. Над людьми.

Он не знал, как он здесь. Он не думал. Он просто был.

Он посмотрел вниз.

Вена спала. Но не так, как Берлин. Тревожно. Напряжённо. Как зверь перед прыжком.

Он видел точку.

Она была здесь. В дворце. В кабинете. Над столом. Между бумагами.

Он спустился.

По стене. Как тень. Как никто.

Он подошёл к окну.

Внутри – люди. Министры. Дипломаты. Император.

Франц Иосиф. Старый. Усталый. Сломленный.

Он подписывал бумагу.

Алексей знал, что это. Ультиматум Сербии. Война.

Он открыл окно.

Он вошёл в комнату.

Никто не увидел его.

Он подошёл к столу.

Он посмотрел на бумагу.

Он протянул руку.

И – остановил перо.

Франц Иосиф поднял глаза.

– Что это?

– Не подписывайте, – сказал Алексей.

– Кто вы?

– Я – тот, кто видел то, что будет.

– И что будет?

– Война. Большая. Долгая. Кровавая. Ваша империя рухнет.

Император посмотрел на него.

Долго.

Потом – улыбнулся.

– Моя империя уже рухнула, – сказал он. – Четверть века назад. Когда умер мой сын.

Алексей замер.

– Я подпишу, – сказал император. – Потому что ничего другого не осталось.

Он подписал.

Алексей смотрел на точку.

Она вспыхнула.

Ярко. Красно. Бело.

Потом – исчезла.

Он вернулся в Лондон.

Не в комнату – в воздух. Над «Глобусом». Над Темзой. Над миром.

Он висел.

Он дышал.

Он смотрел на руки.

Пустые. Ничего. Ни пистолета. Ни крови. Ни точки.

Точка исчезла.

Он понял: война началась. Не сегодня – давно. Она всегда была. Точка не была причиной. Она была следствием.

Он не мог остановить её. Никто не мог.

Он закрыл глаза.

– Я не смог, – сказал он.

Тишина.

– Я не смог остановить войну.

Тишина.

– Я только понял, что не всё зависит от меня.

Он открыл глаза.

Над Лондоном – рассвет.

Серый. Тихий. Обычный.

Он посмотрел на горизонт.

Там – ничего. Пусто.

Точка ушла.

Он остался один.

Он закрыл глаза.

И – полетел вниз.

София, июль 1914 года

Человек сидел за столом и читал письмо.

Письмо было из Сараево. От человека, которого он не знал. От человека, который называл себя «брат».

«Выстрел не случился. Но точка не закрыта. Война будет. Готовься».

Человек отложил письмо.

Он был стар – лет пятьдесят. Седой. С усталыми глазами. Он был болгарин. Или – румын. Или – никто.

Он знал только одно: он – страж. Как его отец. Как его дед. Как все, кто был до него.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу.

София спала. Грязь, туман, очень редкие огни.

Он смотрел на это долго.

Потом вернулся к столу. Взял перо. Написал ответ.

«Я готов. Но я один. Найди мне братьев. Двадцатая – не здесь. Двадцатая – везде. Будь готов».

Он отправил письмо с гонцом.

И – стал ждать.

Глава 18

Афон, наши дни

Алексей вернулся на Афон через неделю.

Он не помнил, как летел. Не помнил, как оказался на пристани. Не помнил, как поднимался по тропе к монастырю. Он помнил только море. Серое. Тихое. Знакомое.

Он шёл по двору. Монахи не смотрели на него. Они знали. Как будто ждали. Как будто видели его раньше. Как будто он всегда был здесь.

Он подошёл к библиотеке. Открыл дверь.

Отец Паисий сидел за столом.

Перед ним – чашка кофе. Пар поднимался. Старик не пил. Он смотрел на неё. Как будто видел что-то другое.

– Вы вернулись, – сказал он.

– Да, – сказал Алексей.

– Садитесь.

Алексей сел.

Тишина.

Потом отец Паисий сказал:

– Вы видели войну.

– Да.

– Вы пытались остановить.

– Да.

– Вы не смогли.

– Нет.

Старик кивнул.

– Никто не может, – сказал он. – Войны не останавливаются. Они случаются. Как болезнь. Как смерть. Как рождение.

Алексей посмотрел на него.

– Тогда зачем?

– Что – зачем?

– Зачем орден? Зачем точки? Зачем полёты? Если ничего нельзя изменить?

Отец Паисий долго молчал.

Потом сказал:

– Можно изменить не войну. Можно изменить того, кто видит.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на море.

– Война случится. Империи рухнут. Люди умрут. Это не в нашей власти. Но мы можем сделать так, чтобы кто-то помнил. Чтобы кто-то знал. Чтобы кто-то видел.

Он обернулся.

– Вы видели Сараево. Вы видели Берлин. Вы видели Вену. Вы пытались остановить. Вы не смогли. Но вы запомнили. И теперь – вы знаете.

– Что знаю?

– Что мир не спасается силой. Он спасается присутствием.

Алексей посмотрел на него.

– Присутствием?

– Да, – сказал отец Паисий. – Точка – это не место. Это момент. Когда кто-то видит. Когда кто-то знает. Когда кто-то помнит.

Он сел обратно.

– Орден не спасает мир. Орден свидетельствует. Мы видим. Мы помним. Мы знаем. И этого достаточно.

Алексей молчал.

Потом сказал:

– Шекспир пытался научить летать. Он не смог. Но он написал.

– Да, – сказал отец Паисий. – И этого достаточно.

– Чехов видел точку. Он не умел летать. Но он написал.

– Да. И этого достаточно.

– Лжедмитрий ушёл. Он не спас Россию. Но он ушёл.

– Да. И этого достаточно.

Алексей посмотрел на свои руки.

– А я? – спросил он. – Я что сделал?

Отец Паисий посмотрел на него.

– Вы летали, – сказал он. – Вы видели. Вы пытались. Вы вернулись.

Он улыбнулся.

– И этого достаточно.

Тишина.

Потом Алексей сказал:

– Вы знали. Вы всё знали. С самого начала.

– Да, – сказал отец Паисий.

– Почему вы не сказали?

– Потому что вы должны были увидеть сами.

Алексей встал. Подошёл к окну. Посмотрел на море.

Там – точка. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он смотрел на неё долго.

– Что теперь? – спросил он.

Отец Паисий не ответил.

Он просто смотрел на море.

– Теперь – вы решаете, – сказал он наконец. – Остаться – или уйти. Помнить – или забыть. Быть – или не быть.

Алексей обернулся.

– А вы? – спросил он. – Вы решили?

Отец Паисий посмотрел на него.

– Я остался, – сказал он. – Я не смог шагнуть. Я испугался. Я всю жизнь жалел об этом.

Он встал.

– Но вы – не я. Вы уже шагнули. Вы уже летали. Вы уже видели.

Он протянул руку.

– Теперь – ваш черёд.

Алексей посмотрел на руку.

Потом – на точку на горизонте.

Потом – на себя.

Он не знал, что делать.

Но он знал: назад пути нет.

Он сделал шаг вперёд.

Глава 19

Афон, наши дни

Ночь была тихая.

Не беззвучная – тихая. Море дышало. Чайки спали. Ветер шёл по камням, как будто искал что-то и не находил. Где-то внизу, в монастыре, горела одна свеча. Может быть, две. Может быть, ни одной.

Алексей стоял на краю обрыва.

Того самого. Где в 1938 году отец Серафим вышел на балкон и не вернулся. Где в 1453 году два монаха шагнули в воздух. Где всё началось.

Он стоял и смотрел на море.

Точка была там. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он знал, что делать.

Не потому, что кто-то сказал. Не потому, что свиток научил. Не потому, что Шекспир, Чехов, Лжедмитрий, Наполеон – все они оставили ему что-то. Он знал сам. Как будто всегда знал. Как будто вспомнил.

Он закрыл глаза.

«Первое: молчание. Не молчание рта. Молчание ума».

Он замолчал.

«Второе: свет. Не свет солнца. Свет, который внутри».

Он увидел.

«Третье: любовь. Не любовь к кому-то. Любовь ко всему».

Он почувствовал.

«Четвёртое: отпустить».

Он отпустил.

Он не полетел.

Он не исчез.

Он остался.

Но – остался не так, как раньше. Не здесь. Не на обрыве. Не в келье. Не в мире, который не хотел его пускать.

Он остался в точке.

Не в той, что на горизонте. В другой. В той, что внутри. В той, что всегда была. В той, которую он искал всю жизнь – и не находил, потому что искал снаружи.

Он открыл глаза.

Море было там.

Точка была там.

Но теперь – он был там тоже. Не рядом. Не над. Не под. В.

Он посмотрел на точку.

Она не исчезла.

Она не приблизилась.

Она просто была. Как он. Как море. Как небо. Как всё.

Он улыбнулся.

– Я понял, – сказал он тихо.

Точка качнулась. Как будто кивнула.

– Я не должен улетать. Я должен быть.

Точка замерла.

– Я должен видеть. Я должен помнить. Я должен знать.

Точка слушала.

– Я должен быть точкой. Не искать её. Быть ею.

Тишина.

Потом – свет.

Не яркий. Не слепящий. Тихий. Как будто кто-то зажёг свечу внутри него. Как будто кто-то держал его. Как будто кто-то знал его.

Он закрыл глаза.

И – отпустил всё.

Он не помнил, как вернулся в келью.

Он не помнил, как сел за стол. Как взял свиток. Как развернул его.

Он помнил только свет. И – тишину. И – точку, которая была везде.

Он посмотрел на свиток.

Там – приписка. Новая. Его почерком.

«Тот, кто прочтёт это, – вспомнит. Тот, кто вспомнит, – поймёт. Тот, кто поймёт, – будет. Не летать. Не исчезать. Не искать. Быть. Точкой. Светом. Тишиной. И этого достаточно».

Он отложил перо.

Он встал.

Он подошёл к окну.

Он открыл ставни.

Море было там. Серое. Тихое. Бесконечное.

Точка была там. Маленькая, темная, ждала.

Он смотрел на неё.

– Я здесь, – сказал он.

Точка не исчезла.

– Я буду здесь.

Точка не двинулась.

– Всегда.

Тишина.

Потом – рассвет.

Он не ушёл.

Он остался.

Не в монастыре. Не на Афоне. Не в мире, который не хотел его пускать.

Он остался в точке. В себе. В свете. В тишине.

Он стал тем, кем должен был стать. Не монахом. Не лётчиком. Не свидетелем. Точкой.

И – этого было достаточно.

Отец Паисий нашёл его утром.

Он сидел на краю обрыва. Смотрел на море. Улыбался.

– Вы остались, – сказал старик.

– Да, – сказал Алексей.

– Почему?

Алексей посмотрел на него.

– Потому что я не хотел уходить, – сказал он. – Я хотел быть.

Отец Паисий сел рядом.

– Вы нашли точку?

– Да.

– Где?

Алексей посмотрел на море.

– Здесь, – сказал он. – Везде. В себе.

Старик долго молчал.

Потом сказал:

– Я ждал этого всю жизнь.

– Чего?

– Того, кто поймёт.

Он встал.

– Пойдёмте, – сказал он. – Кофе остывает.

Алексей встал.

Он посмотрел на море последний раз.

Точка была там.

Он улыбнулся.

И – пошёл за стариком.

Глава 20

Афон, наши дни

Они сидели на террасе и пили кофе.

Утро было тихое. Море – серое. Чайки – молчали. Монахи – работали. Всё – как всегда. Всё – как должно быть.

Алексей не искал точку.

Он знал: она здесь. Не на горизонте. В нём. В море. В утре. В кофе, который остывал в чашке.

Он смотрел на море.

И – видел всё.

Не глазами – собой. Как будто он был морем! Как будто он был небом! Как будто он был всем!

Он улыбнулся.

Отец Паисий подошёл. Сел рядом. Налил себе кофе.

– Вы счастливы? – спросил он.

Алексей посмотрел на него.

– Да, – сказал он. – Кажется, да.

Старик кивнул.

Они сидели молча. Долго. Хорошо.

Потом отец Паисий сказал:

– Вы знаете, что точка не одна?

Алексей посмотрел на него.

– Как это?

– Их много, – сказал старик. – Везде. В каждом городе. В каждом доме. В каждом человеке.

Он отпил кофе.

– Точка – это не место. Это момент. Когда кто-то видит. Когда кто-то знает. Когда кто-то помнит.

Он посмотрел на море.

– Их много, – повторил он. – И каждая – ждёт.

Алексей молчал.

Потом сказал:

– Значит, я – не один.

– Нет, – сказал старик. – Ты никогда не был один.

Он встал.

– Пойдёмте, – сказал он. – Работа ждёт.

Алексей встал.

Он посмотрел на море последний раз.

Точка была там.

Он улыбнулся.

И – пошёл за стариком.

София, наши дни

В комнате пахло табаком и старой бумагой.

Человек сидел за столом и читал письмо. Письмо было с Афона. От человека, которого он не знал. От человека, который называл себя «брат».

«Двадцатая точка закрыта. Но точки не закрываются. Они открываются. Будь готов».

Человек отложил письмо.

Он был молод – лет тридцати. Худой. С тёмными глазами, которые смотрели слишком внимательно. Он был болгарин. Или – румын. Или – никто.

Он знал только одно: он – страж. Как его отец. Как его дед. Как все, кто был до него.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу. Улица спала.

София спала. Вонь, сильный дождь, редкие огни.

Он смотрел на это долго.

Потом вернулся к столу. Взял перо. Написал ответ.

«Я готов. Но я один. Найди мне братьев. Точка – везде. Будь готов».

Он отправил письмо, с гонцом.

И – стал ждать.

Тегеран, наши дни

В комнате пахло розовой водой и дымом кальяна.

Старик сидел на ковре и смотрел на огонь. Он был стар – очень стар. Никто не знал, сколько ему лет.

Он был суфий. Из ордена, который не называл себя орденом.

Он знал, что мир истончается. Знал, что есть точки. Знал, что есть люди, которые могут перестать быть здесь.

Но он знал и другое: их путь – не путь христиан. Их путь – другой. Не свет Фаворский, а свет иной. Не молчание ума, а танец. Не левитация, а вращение. Свет. Огонь.

Он смотрел на огонь.

И – в этот момент – он почувствовал, как будто кто-то смотрел. Как будто кто-то ждал. Как будто точка – здесь. Рядом.

Он закрыл глаза.

– Они идут, – сказал он тихо. – Всегда идут. Грядущие.

Он открыл глаза.

Огонь дрожал.

Эпилог

Афон, наши дни

Алексей сидел на террасе и пил кофе.

Утро было тихое. Море – серое. Чайки – молчали. Монахи – работали. Всё – как всегда. Всё – как должно быть.

Он не искал точку.

Он знал: она здесь. Не на горизонте. В нём. В море. В утре. В кофе, который остывал в чашке.

Он смотрел на море.

И – видел всё.

Он улыбнулся.

Лондон, 1613 год

«Глобус» догорал.

Уильям стоял на берегу Темзы и смотрел на огонь.

Он не плакал. Не кричал. Не проклинал.

Он знал: так должно быть.

Он хотел научить их летать. Он не смог.

Он хотел создать новый Афон. Он не смог.

Он хотел быть не один. Он не смог.

Но – он написал.

И – этого было достаточно.

Он повернулся. Пошёл прочь.

За спиной – огонь. Дым. Пепел.

Впереди – ночь. Тишина. Точка.

Он шёл долго.

Потом остановился.

Посмотрел на небо.

Там – точка. Маленькая. Тёмная. Ждала.

Он улыбнулся.

– Я иду, – сказал он.

И – шагнул.

Остров Святой Елены, 1821 год

Маршан вошёл в комнату.

Постель была пуста. Окно открыто. Тишина.

Он подошёл к окну. Посмотрел вниз. Никого.

Он посмотрел на океан, на скалы, на пустоту.

Он перекрестился.

– Он ушёл, – сказал он тихо. – Наконец ушёл.

Он закрыл окно.
И – заплакал.
Не от горя. От облегчения.

Ялта, 1898 год

Чехов сидел на террасе и смотрел на море.
Он был болен. Слаб. Устал.
Он знал: смерть близко. Он не боялся.
Он боялся не успеть.
Не успеть написать. Не успеть сказать. Не успеть понять.
Он смотрел на море.
Там – точка. Маленькая. Тёмная. Ждала.
Он смотрел на неё долго.
Потом – улыбнулся.
– Я не умею летать, – сказал он тихо. – Но я написал о полёте. И этого достаточно.
Он взял перо.
И – продолжил писать.

Москва, 1606 год

Монах стоял на колокольне Ивана Великого.
Внизу – толпа. Крики. Огонь.
Он не смотрел вниз. Он смотрел на запад.
Там – земля, которую он знал. Там – точка. Там – те, кто умеет летать.
Он закрыл глаза.
– Я не спас Россию, – сказал он тихо. – Но я ушёл. И этого достаточно.
Он открыл глаза.
И – шагнул.

Наши дни. Где-то

Человек стоял на краю крыши.
Город спал. Огни горели. Небо было чёрное.
Он смотрел вниз.
Он не боялся.
Он знал: точка здесь. В нём. В мире. В каждом, кто видит. В каждом, кто помнит. В каждом, кто знает.
Он закрыл глаза.
«Ты не читаешь. Ты вспоминаешь».
Он открыл глаза.
И – шагнул.

Точка

Она была всегда.
До Афона. До Константинополя. До Шекспира. До Наполеона. До Чехова. До нас.
Она не исчезла.
Она здесь.
Ты читаешь.
Ты вспоминаешь.
Ты знаешь.

Ты ставишь точку.
И – этого достаточно.
Конец.